

ВРЕМЯ *И* **МЕСТО**

Литературно-художественный
и общественно-политический журнал

Выпуск 1 (33)

Нью-Йорк, 2015

ВРЕМЯ и МЕСТО

***Международный литературно-художественный
и общественно-политический журнал***

VREMYA I MESTO

***International Journal of Fiction, Literary Debate,
and Social and Political Commentary***

Copyright © 2015 Vremya i Mesto

Produced by *Shikhman Publishing*

Artwork on front cover by Vladimir Kush

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means – electronic, mechanical, photocopy, or any other – except for brief quotations in printed reviews, without prior permission from the Publisher.

For any information about obtaining permission to reproduce selections from the journal, please call 718-815-5000 or send an email to olga@flockusa.com

www.vmzhurnal.com

All rights reserved

ISBN: 978-1507831823

Printed in the United States of America

**Игорь Шихман, издатель и
главный редактор (США)**

Редакционная коллегия:

Давид Гай – зам. главного редактора (США)

Ирина Басова (Франция)

Марк Вейцман (Израиль)

Руслан Галазов (Испания)

Нина Генн (США)

Геннадий Кацов (США)

Надежда Кожевникова (США)

Давид Маркиш (Израиль)

Владимир Некляев (Беларусь)

Андрей Остальский (Англия)

Александр Половец (США)

Георгий Пряхин (Россия)

Семен Резник (США)

Михаил Румер-Зараев (Германия)

Марк Черняховский (США)

СОДЕРЖАНИЕ

<i>К ЧИТАТЕЛЯМ</i>	6
<i>ПРОЗА</i>	
АНАТОЛИЙ ВИШНЕВСКИЙ Жизнеописание Петра Степановича К.....	8
АНДРЕЙ ОБОЛЕНСКИЙ Боги старухи Фонкац	66
МОИСЕЙ БОРОДА Здравствуй и прощай.....	95
ОЛЕГ ГЛУШКИН Сана – любовь моя.....	116
<i>ПОЭЗИЯ</i>	
Бахыт КЕНЖЕЕВ.....	46
ЕЛЕНА ЕСИЛЕВСКАЯ.....	84
МАРК ВЕЙЦМАН.....	133
ЗОЯ ПОЛЕВАЯ.....	189
ЕВГЕНИЙ СОКОЛОВСКИЙ	194
<i>АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА</i>	
ЛЕОНИД ГОЛЬДИН Сколько ума нужно стране.....	140

СУДЬБЫ

ЮРИЙ СОЛОДКИН

Гаон.....159

ИМЕНА В ЛИТЕРАТУРЕ

МИХАИЛ КОПЕЛИОВИЧ

Юбилеи: Бродский – Поляков.....197

РЕМИНИСЦЕНЦИИ

ВЛАДИМИР ФРУМКИН

Две истории, связанные с

Окуджавой..... 216

ИМЕНА В НАУКЕ

СЕМЕН РЕЗНИК

Павловская сессия.....228

БИБЛИОГРАФИЯ

–НАШКРЫМ”.....253

***САРКАСТИЧЕСКИ-ИРОНИЧЕСКАЯ ПРОЗА И
ПОЭЗИЯ***

ЛЕОНИД ШЕБАРШИН

Афоризмы.....257

АВТОР ОБЛОЖКИ

Русский Сальвадор

Дали.....261

К ЧИТАТЕЛЯМ

На днях мне стала известна такая история. Один из наших авторов С., живущий в Нью-Джерси, решил издать свой роман-антиутопию в России. Отрывок из него мы печатали в журнале. Как сплошь и рядом происходит на практике, издатели, еще не прочитав рукопись, потребовали деньги за публикацию. Писателей-иммигрантов это не удивит – большинство, к сожалению, именно таким образом доносит свое творчество до российского читателя. Но я сегодня пишу не об этой малоприятной стороне дела. Я о другом. Каково было удивление С., когда он в итоге получил, по сути, отказ, завуалированный туманными, невнятными рассуждениями издательницы. За свои деньги – и отказ! Потребовав объяснений, он, наконец, услышал: – У вас в романе среди других героев фигурируют президент и лидер некой республики, в которых угадываются Путин и Кадыров. Причем показаны, как бы это сказать..., не в лучшем свете...”

Все стало на свои места – издательница просто испугалась. Сработала *самоцензура*.

Все это вписывается в общую картину сегодняшней российской действительности. Когда свобода слова становится непозволительной роскошью. Когда без объяснения причин закрыты три оппозиционных интернет-издания: Ежедневный журнал, Грани.ru и Каспаров.ru. Когда публицистическую книгу Виктора Шендеровича магазины отказывались продавать, а потом выяснилось, что и продавать-то нечего – директор типографии пустил тираж под нож. Когда потоки грязи льются на создателей замечательного, честного фильма – «Невиафан» и на актеров, сыгравших в нем. Когда за поддерживающие Украину «носты» в Сети можно попасть под уголовное преследование, что случилось в одном из российских регионов. Когда на поэта Бывшева заведены два уголовных дела за стихи в поддержку Украины...

Мне и моим знакомым, живущим в Америке, не раз приходилось слышать во время телефонных или скайп-разговоров с московскими и питерскими друзьями: ”Давай не обсуждать российскую политику. Нас могут подслушивать...”

Страну обуял страх. Он поселился в людях, в том числе образованных, интеллигентных, после разгрома белоленточников Болотной площади, после арестов участников демонстраций протеста и даже одиночных пикетов; публично высказывать мнение, не совпадающее с генеральной линией Кремля, особенно по поводу развязанной Россией войны в Украине, осмеливаются немногие – заслужить титул русофоба или экстремиста проще простого. А экстремизм, в котором любого несогласного могут облыжно обвинить, наказывается тюрьмой. Надо ли удивляться, что владелица скромного издательства отказалась от весьма желанных сегодня долларов ради собственного спокойствия...

И вот о чем я подумал-помечтал, применительно к нашему журналу. В доперестроечные годы большой спрос был на так называемый самиздат, на книги писателей-диссидентов, выходившие на Западе. Их стремились достать любыми способами, размножали с риском для себя, передавали для чтения. В горбачевскую перестройку и позднее все –антисоветское” было издано, перестало быть запретным плодом. Но, может быть, прежние времена возвращаются? Может быть, произведения российских авторов (именно их имею в виду), оказавшиеся под запретом на родине и в лучшем случае могущие увидеть свет лишь в интернете, а не в бумажном виде, перекочат в наши американо-русские журналы и издательства? А появившись за границей, столь же активно будут затребованы российской читающей публикой.

Игорь Шихман,
издатель и главный редактор

АНАТОЛИЙ ВИШНЕВСКИЙ

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ПЕТРА СТЕПАНОВИЧА К.

Отрывки из нового романа

Анатолий Григорьевич Вишневский – новое имя в нашем журнале. Его роман «Жизнеописание Петра Степановича К.» вошел в число шести финалистов премии «Русский Букер» 2014 года.

Родился он в Харькове в 1935 году, в 1958 году окончил Харьковский университет. С 1971 года живет в Москве. Доктор экономических наук, директор Института демографии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Кроме того, он профессор кафедры демографии того же университета, главный редактор электронного еженедельника «ДемоскопWeekly» и журнала «Демографическое обозрение». Демография – его основная профессия, она занимает все его время, но иногда он отклоняется от нее в сторону социальной истории, ей посвящена, в частности, книга «Серп и рубль», вышедшая двумя изданиями в России и на французском языке в издательстве Галлимар. В 90-е годы Вишневский преподавал во Франции и был удостоен звания Кавалера французского ордена Академических пальм.

«Но, конечно, моя самая главная аномалия – это написание двух книг, не имеющих никакого отношения к моим научным занятиям», – говорит профессор.

Одна из них – роман «Перехваченные письма» – первое издание вышло в 2001 году, второе, дополненное, в 2008. Эта книга тоже переведена на французский язык и издана в том же издательстве Галлимар.

Эта книга имеет подзаголовок «роман-коллаж», так как написана на основе нескольких оказавшихся в распоряжении автора семейных архивов русских

эмигрантов. В ней представлена жизнь и судьба трех поколений семьи из знаменитого рода Татищевых на фоне главных событий отечественной истории XX века. Среди персонажей – одна из самых высокопоставленных женщин предреволюционной России Елизавета Нарышкина и прошедшая через советские тюрьмы и ссылку ее внука Ирина Голицына; знаменитая во Франции, но почти неизвестная в России художница-авангардистка Ида Карская; Дина Шрайбман, – прототип Терезы – героини романа Бориса Поплавского «Аполлон Безобразов», и Наталья Столярова – возлюбленная Поплавского и, возможно, агент ГПУ в 30-е годы, затем пережившая ГУЛАГ, а позднее – связанная Солженицына, переправлявшая на Запад его рукописи. Одна из центральных фигур романа – Борис Поплавский, первый среди молодых поэтов русской эмиграции.

«Моя новая книга «Жизнеописание Петра Степановича К.» написана тем же методом, это тоже «коллаж», – рассказывает писатель. – Я так же работал с семейными архивами, не менее обильными, чем были у меня при работе над первой книгой, разница заключалась лишь в том, что в первом случае речь шла о людях известных, а Петр Степанович К. – безвестный агроном из вымышленного украинского районного городка Задонецка. Но он – сверстник центрального персонажа первой книги графа Николая Дмитриевича Татищева – и как человек не менее интересен. Те же амбиции, одинаково не реализовавшиеся. Они прожили одинаково долгую жизнь в одно и то же время, и в обоих случаях моей целью было попытаться увидеть их еще недавно бушевавшую эпоху не через газетные клише – тогдашние или нынешние, а, так сказать, живьем, такой, какой она на деле была для отдельного человека, когда она его царапала, - и сделать это с максимальной достоверностью.

Представляем читателям фрагменты из второй части романа.

1

Над историческими событиями мы не властны, порой они нарушают спокойное, размеренное течение дел, пусть даже и прерываемое время от времени увольнением со службы, пребыванием в камере предварительного заключения и прочими мелкими неприятностями, следить за отдельными, индивидуальными судьбами становится сложнее. Возьмите ту же войну. Наше повествование основано на документах, но документов, касающихся жизни Петра Степановича в годы великой войны, осталось очень мало. Как быть? Ограничимся тем, что просто приведем эти документы в том виде, в каком они попали в наши руки, а потом, когда буря уляжется, снова вернемся к более упорядоченному изложению жизни нашего героя.

Начать с того, что сперва мы просто потеряли Петра Степановича из виду. Где он? Куда подевался? Не погиб ли в первый период войны, признанный впоследствии неудачным? Для призыва на фронт Петр Степанович был, вроде бы, староват, но ведь погибали и в глубоком тылу, становившемся к тому же, по мере приближения к нему фронта, все менее глубоким, – от бомбежек и прочее. А, может быть, он стал подпольщиком или примкнул к партизанам и принял геройскую смерть в неравной борьбе с оккупантами?

В который раз, оказавшись в затруднении, мы кляли себя, что выбрали такого неусидчивого героя, тщеславно надеясь через него приобщиться, если повезет, к славной эпохе, выкованной негибемыми Петрами Степановичами. А что бы вы чувствовали на нашем месте? Все следы Петра Степановича испарились, а из документальных свидетельств военного лихолетья нам удалось найти единственное письмо, написанное на каком-то случайном, неровно оборванном листе бумаги, и то не самим Петром Степановичем, а его женой Катей и адресованное их старшему сыну. Вот оно.

«Здравствуй, дорогой мой Старшенький!

Как мне жаль и обидно было так поздно узнать, как вы там сильно голодаете... В Капустяновке, говорят, а я сама, ты же знаешь, при всем моем желании, прийти не могу, чувствую себя довольно неважно. Завтра рано идет к Ване его мама. Наготовила тебе маленькую посылку, но не уверена, возьмет ли она ее. Быть может, в другой раз я смогу передать больше, а теперь прости за малое.

Но я думаю, что ты, мой Старшенький, знаешь, как велико мое желание помочь тебе, чем могу, только обстоятельства не дают мне исполнить это желание... Ты знаешь, ты понимаешь и простишь мне... Дитя мое! Крепись, не падай духом и верь, что ты будешь жить!!! Я хочу, чтобы ты верил в то, что мы снова увидимся!! Я хочу в это верить, я живу этой надеждой! Мою молитву не теряй, быть может, она тебя будет выручать в тяжелые минуты, но лучше пусть не будет в твоей жизни тяжелых минут. Пусть с тобой будут всегда удачи! Пусть с тобой будут бодрость, и вера, и надежда!

Если б ты знал, как я думаю все время о твоём настроении, состоянии здоровья и твоём положении в части. Найди минуту, чтобы черкнуть пару слов о себе. Боюсь и волнуюсь, что Бутенко может не найти тебя. Как хочется, чтобы ты хоть этот хлеб получил. Знаю, что табаку ты будешь больше рад, но... увы, я не могу набрать на этот раз. Я прошу Бутенко, чтобы она выменяла для тебя пшена или каких других круп за нитки. Старшенький мой, старайся писать письма, чтобы не потерять нам связь и надежды!

Быть может, ты еще будешь здесь, и я смогу передачу передать братиком твоим. Хотела сообщить Марусе, чтобы она порадовала тебя письмом, да не успела этого сделать. Но не ошибусь, если передам тебе от нее привет и самые лучшие пожелания.

Будь же здоровым и телом, и душой! Пусть тебя везде сопровождают удачи и счастье! Благословляю тебя, мое дитя! Да хранит тебя господь!

Я и братья твои тебя крепко-крепко целуем. Младший особенно часто вспоминает тебя, а Средний грустит о тебе. Прости мне все обиды, не вспоминай их, знай, что мама хочет тебе только счастья. Пусть же будет это всегда с тобой, мой дорогой, мой милый Старшенький! Целую крепко. Твоя мама».

Как это письмо оказалось в наших руках? Да потому что не попало в свое время в руки адресата. То ли Катя не успела передать его маме Ивана Бутенко, то ли та сама не добралась до своего сына, возвратилась, не солоно хлебавши, и вернула недоставленное письмо, - этого мы никогда не узнаем. А письмо мы отыскали в кипе старых бумаг - вот оно, перед нами. Но в нем, как видим, ничего не говорится о Петре Степановиче, как будто и не было его никогда, а речь ведь все-таки идет о главе семьи! Он-то куда запропастился? Уж не стал ли он и в самом деле невидимкой, так что и написать о нем невозможно?

Долго мучил нас этот вопрос, пока, наконец, в другой пачке бумаг, относящихся к совсем другому, абсолютно благополучному и мирному периоду, мы не обнаружили еще один листок, исписанный хорошо знакомым нам почерком. Скопируем его для читателей.

Собственноручное показание

Я, Петр Степанович К., проживающий в г. Заднецке, Харьковской области, по Красноармейской ул. № 9, будучи предупрежден об ответственности за дачу ложных показаний, по существу заданных мне вопросов сообщаю следующее.

С 1938 года я работаю в Заднецкой свеклобазе в должности старшего агронома. В октябре месяце 1941 года, когда стали на город Заднецк налетать немецкие

самолеты, я был занят отгрузкой свеклосемян, которых на свеклобазе имелось свыше 1000 центнеров, вглубь страны. До 15 октября 1942 года мне удалось отгрузить свыше 500 центнеров, а остальные не удалось отгрузить, так как 15 октября меня арестовали и посадили в Задонецкую тюрьму. Никто мне не делал в Задонецке никаких допросов, и никто мне не сказал, за что я арестован. Середина октября 1941 года в Задонецке была очень тревожной, и все были озабочены, занимались эвакуацией. Если бы меня не арестовали, то 17 октября я бы со своей семьей тоже эвакуировался бы, но поскольку меня постигло такое несчастье, семья вынуждена была остаться в Задонецке. Семья моя состояла (кроме меня) с жены и троих детей.

17 октября 1941 года группа арестованных, примерно в 30 человек, была под конвоем выведена из Задонецкой тюрьмы и пешим порядком отправилась в направлении г. Балашова Саратовской области. Шли пешком, с ночевками в пути, до Острогжска, а там посадили нас на платформу, и мы благополучно прибыли в город Балашов. В Балашовской тюрьме я пробыл 17 месяцев. За эти 17 месяцев мне было 4-5 допросов, на которых меня допрашивали: за что я арестован? Мне нечего было что-либо сказать по этому вопросу, так как я и сам не знал причины ареста. После одного из допросов меня посадили в одиночку, чтобы «я подумал»; в одиночке я просидел 62 суток. После чего был очередной допрос, но мне и тогда нечего было что-либо сказать о причине моего ареста, и меня снова перевели в общую камеру.

Вскоре ко мне подсадили подозрительного типа, который стал со мною вести явно провокационные разговоры антисоветского порядка. Не помню фамилию этого человека, так как с тех пор прошло около 16 лет, но его через 3-4 дня увели из нашей камеры. К моему удивлению, через несколько дней вдруг меня стали вызывать на допросы и очные ставки, где уже не интересовались

вопросами повода к моему аресту, а возник вопрос об организации побега из тюрьмы. Если бы кто-либо проверил это обвинение, то сразу бы убедился в его абсурдности, так как я, особенно после одиночного заключения, был в таком физическом состоянии, что еле передвигался по камере, а когда человек в таком состоянии, то он не мог осуществить не только побега, но даже не мог думать об этом. Грязную роль в этом вопросе сыграли на очной ставке два старика с города Задонецка, тоже заключенные, Остольский Федор Петрович и Соломка Петр Алексеевич. Когда я спросил Соломку: «Что вас побудило наговорить на меня всяких гадостей?». Он ответил: «Нам с Федором Петровичем обещали свободу, если дадим такие показания, какие от нас потребовали».

Прошло еще некоторое время, однажды меня вызвали в коридор и под расписку зачитали, что мне Тройкой дан срок тюремного заключения на 10 лет по ст. 58 п. п. 10 и 11. Через несколько дней я был отправлен в Котлас, где и пробыл 10 месяцев.

В январе 1944 г. я был вызван в лагерную канцелярию и меня освободили, основываясь на... (далее идут две строки точек, видимо, Петр Степанович не помнил в точности оснований своего освобождения и уточнил их уже в беловом варианте своих показаний, нам же достался только черновик).

По возвращении в Харьков, я явился в областные органы МГБ, где мне сказали, что ко мне никаких претензий не имеется. Я явился в Харьковский сахсвеклотрест, и мне предложили возвратиться на ту же Задонецкую свеклобазу, где я работаю и сейчас в должности старшего агронома.

Возвратившись в Задонецк, я не застал в живых жены, и не оказалось дома старших двух сыновей: жена умерла, один сын был призван на фронт, а другой работал в Куйбышеве рабочим на оборонном заводе. Имущество мое было расхищено, и мне пришлось начать жизнь сначала.

Уже здесь, в свеклотресте, я был награжден медалью за доблестный труд во время Отечественной войны...

Вот уже идет семнадцатый год, как я был арестован, и я сейчас не могу никому ответить: за что же я был арестован 15 октября 1941 года.

Петр Степанович К.

3 апреля 1958 года.

Тут же обнаружили и подколотые заржавевшей скрепкой к этому черновому, рукописному тексту, еще две бумажки, на бланке, напечатанные на машинке и скрепленные печатями, то есть вполне официальные:

Прокуратура Союза Советских Социалистических
Республик

Прокурор
Харьковской области

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ

26 февраля 1960 г.
№ Я-161-60

Гр. К. Петру Степановичу
г. Задонецк, Харьковской области, ул.
Красноармейская, 9.

На Ваше заявление сообщаю, что дело Ваше Харьковским Облсудом прекращено в августе 1958 года.

За справкой о реабилитации обращайтесь в Харьковский облсуд.

Зам. Облпрокурора по надзору за
следствием в органах госбезопасности
Советник юстиции
Дейнеко

И вторая:

Харьковский областной суд
гор. Харьков, улица Хмельницкого № 4, тел. 2-46-73

Справка

7/Ш 1960, № 257сп

Дело по обвинению Петра Степановича К., 1896 года рождения, работавшего ст. агрономом свеклобазы в гор. Задонецк Харьковской области, пересмотрено президиумом Харьковского областного суда от 8 августа 1958 года.

Постановление Особой Тройки УНКВД по Харьковской области от 30 декабря 1942 года в отношении Петра Степановича К. отменено, и дело производством прекращено. Петр Степанович К. – реабилитирован.

Председатель Харьковского областного суда
Мирошниченко

Печать

Выходит, Петр Степанович не только выжил, вернулся домой, так еще в который раз оказался невиновным. Но Соломка-то, бессовестный старик, каков! Пытался оговорить невиноватого! Какое вероломство!

Нам, как автору, эта линия показалась интересной, поначалу мы даже намеревались ее развить. Мы ведь понимаем, что нашему повествованию не хватает сильных страстей. Если читатель помнит, мы обещали ему встречу с героями, достойными пера Джека Лондона, но это у нас не получилось. Героизма тогда кругом было очень много, даже в мирное время – возьмите хотя бы трактористку эту, забыл, как ее звали... А уж о военном времени мы и не говорим! Но почему-то Петра Степановича, к которому мы так привязаны, героизм обошел стороной, и из-за этого мы

не можем показать читателю, что в страстях мы тоже разбираемся.

А тут как раз нам подвернулось вероломство – это не то, что Джек Лондон, это вообще Шекспир! Вот мы и подумали, соприкоснувшись с вероломством двух стариков – Остольского Федора Петровича и Соломки Петра Алексеевича, не окунуть ли нам нашего читателя в мир страстей и глубоких переживаний, связанных с вероломством. Итак:

Соломка Петр Алексеевич

– По правде говоря, кое-какая совесть во мне еще сидит, не хочется мне наговаривать на Петра Степановича.

Остольский Федор Петрович

– Ты лучше вспомни о награде, которую нам пообещали за это.

Соломка Петр Алексеевич

– Ё-моё! Чуть не забыл о награде. Конечно, скажу, что потребуют!

Остольский Федор Петрович

– А где же теперь твоя совесть? Она тебе точно не помешает?

Соломка Петр Алексеевич

– Совесть – хорошая вещь, когда ее не слишком много. А когда она разрастается, так превращается в беса, который только мешает человеку во всех его делах. Хочешь нормально жить – живи собственным умом и без всякого совестливого беса.

Остольский Федор Петрович

– Ай, ай! Вот он сейчас у меня под локтем вертится и убеждает не наговаривать на Петра Степановича.

Соломка Петр Алексеевич

– Ты этому бесу не верь, не впускай его в себя, а то он в тебя заберется, чтоб лишить тебя сил.

Остольский Федор Петрович

– Ни хрена не выйдет, не на такого напал!

Соломка Петр Алексеевич

– Ну, вот теперь ты дело говоришь, как порядочный человек, который дорожит своей репутацией. Что же, пойдём, скажем все, чего от нас потребуют!

(Проваливаются).

Так мы немножко поупражнялись, а как стали думать дальше, так поняли, что у нас и с вероломством ничего не выходит. Тоже мне, вероломство! Мы такого вероломства, знаете, сколько видели! Чепуха на постном масле, по нашим временам! Любой бы так поступил на их месте - Соломки Петра Алексеевича или Остольского Федора Петровича. А на вашем, думаете, по-иному? Нет, на одном Соломке Петре Алексеевиче далеко не уедешь, не тот уровень. Нам самого Ричарда III подавай. Надо бы нам выше подняться, там поискать, – но не можем бросить Петра Степановича. Да и кто же нам позволит – выше? Там все такое ослепительное, государственное, все в звездах... А мы все-таки не Шекспир. К сожалению. Так что оставим эту тему.

Впрочем, нам и с Петром Степановичем неплохо, мы уже не раз убеждались – и читатель тоже, – что и Петр Степанович не так прост, наверно, родился в рубашке. Не всем Петрам Степановичам так везло в ту пору, многие так никогда и не возвратились в свои Задонецки. Но если бы не они, как бы можно было в то время сохранить гораздо

более ценные кадры Наркомата внутренних дел? Вынужденные день и ночь бороться с опаснейшими Петрами Степановичами, эти кадры вместе с обнаруженными ими преступниками, сурово насупив брови, двигались вглубь страны, на восток – не на запад же, в самом деле, им было двигаться, где в это время была такая стрельба и где и без них хватало вооруженных людей!

Но это – дело прошлое. Главное мы знаем: Петр Степанович реабилитирован, и теперь мы можем, ничего не опасаясь, с чистою совестью продолжить его жизнеописание. По крупицам, буквально по крупицам придется нам собрать сведения обо всем, что происходило в тяжелые военные и послевоенные годы, ибо сам Петр Степанович в это время почему-то почти ничего не записывал.

2

Еще до того, как Петра Степановича арестовали, неприятель неожиданно быстро придвинулся к нашим местам, и старший сын Петра Степановича ушел в ополчение. Ему исполнилось 16 лет, и он решил, не исключено, что по подсказке старших товарищей, укрепить своим присутствием нашу редеющую военную силу. Возможно, к этому времени и относится приведенное выше недоставленное письмо Кати. К сожалению, даже несмотря на присутствие старшего сына Петра Степановича на полях боев, под Лозовой, куда привела его судьба, удача явно была на стороне противника. Дошло до того, что командиры стали спарывать свои петлички, дружески советуя своим подчиненным, чтобы они спасались, кто как может. Стал пробираться домой и старший сын Петра Степановича.

Не получая долгое время никаких известий от старшего сына и опасаясь за судьбу двоих младших, Катя и после того, как Петра Степановича забрали и увезли куда-то из Задонецка, пыталась эвакуироваться. За нее обещала

похлопотать одна старая знакомая, жена председателя райисполкома, правда, она не знала, станет ли муж помогать, когда узнает, что Катерина – жена арестованного. Ждали, когда председатель возвратится – он уже неделю как мотался по району, пытаюсь организовать хоть какую-то эвакуацию вверенных ему предприятий и учреждений. Но, к сожалению, вернуться в Задонецк он так и не успел. Вдруг ни с того, ни с сего нагрянули немцы и захватили его прямо в конторе совхоза, эвакуацию которого он организовывал. Кто да что? Им некогда было разбираться. Добрые люди сказали, что это – председатель райисполкома, немцы расстреляли его и пошли дальше.

Так Катя с детьми и не уехала из Задонецка в более безопасные места, и потом восемь месяцев они жили под немцами, заодно с которыми в Задонецке побывали также румыны и итальянцы.

Когда эти немцы вошли в Задонецк, Катя, уже больная и измученная, сказала в сердцах: «Слава Богу. Теперь никого не арестуют». Она, конечно, не должна была так говорить, тем более что, в их семье и арестовывать-то больше некого было, как она думала. Но слово сорвалось, теперь его из песни не выкинешь, правды же в нем оказалось немного. В декабре 1941 года немцы стали высылать оставшееся мужское население Задонецка в свои тылы, а с их точки зрения, к мужскому населению уже относились не только 16-летний старший сын Петра Степановича, но и его 14-летний средний сын.

Мужское население погнали пешком, в каком-то селе они переночевали, утром погнали дальше, и прошел слух, что конечным пунктом будет лагерь военнопленных. Такая перспектива мало кого привлекала, и по дороге мужское население стало разбегаться, надо сказать, при легкомысленном попустительстве со стороны немецкого, а может быть и румынского, – сейчас этого уже не выяснить – конвоя. При первой возможности, дали деру и сыновья

Петра Степановича. На какое-то время они нашли приют в селе Большая Камышеваха, у одного неробкого хозяина, который уже приютил у себя семерых таких же беглецов. Теперь их стало девять. Хозяин был старостой и довольно ловко лавировал между назначившими его немцами и своими односельчанами. Для немцев главным было обеспечить своих солдат провиантом, с каковой целью они периодически наведывались в село. Накануне староста ходил по дворам и предупреждал людей, чтобы те прятали живность и продукты, оставляя лишь немного: ведро картошки, пару кур... Подвода с немцами останавливалась около каждого двора, староста напускал на себя лютый вид, чуть ли не ногой открывая калитки, и грубо требовал продукты. Люди выносили заранее приготовленное.

Пряча у себя девятерых беглецов, староста немало рисковал, но и проявлял дальновидность. Он помогал им, как мог. Спали они покато на полу, в доме. В поле оставались неубранные кукуруза и сахарная свекла, беглецы могли пользоваться печью, а хозяин даже делился с ними хлебом. Все это зачлось ему впоследствии, когда немцев прогнали. Его даже не стали арестовывать, а сразу мобилизовали в Красную Армию, так же, как и его сына. Что стало со старостой впоследствии, нам неизвестно, а сын его числится в довольно длинном списке жителей села Большая Камышеваха, отдавших жизнь за Родину.

Катя осталась в Задонецке с шестилетним младшим сыном в полном неведении о судьбе двоих старших, мучилась от этого неведения и просто таяла на глазах. Никакой медицины не было, только Люба, жившая неподалеку знакомая медицинская сестра, иногда навещала ее. Муж Любы, Николай, командир Красной Армии, не вернулся еще с финской войны, говорили, замерз где-то раненый. Катя тогда ей очень сочувствовала, утешала, как могла. Так они и сдружились. Люба работала в районной больнице, больные ее очень уважали, называли Любовью Петровной, считали, что она умеет лечить не

хуже докторов. Но сейчас что она могла сделать без лекарств и прочих медикаментов? Только банки ставить?

Однажды Люба пришла проведать Катю и нашла ее в полном отчаянии: куда-то исчез младший сын. Надо было идти его искать, но куда? И сил совсем не было. Люба сказала, что она пойдет, поищет, но младший сын Петра Степановича нашелся сам. Он вернулся в румынской каске, с котелком, полным еще не остывшей похлебки. Оказывается, он ходил к церкви, возле которой стояли румыны, и глазел там на их полевую кухню. Котелок он нес с гордостью, ожидал похвалы, а мама расплакалась, стала кричать, чтобы он не смел уходить без разрешения, тетя Люба стала ее успокаивать, в общем, все получилось не так, как он ожидал.

Конечно, от таких переживаний можно было еще больше заболеть. Кате становилось хуже и хуже, и когда Задонецк освободили, она была уже очень слаба.

Старший и средний сыновья Петра Степановича возвратились домой в конце февраля 1943 года, когда немцы отступили. Отступить-то они отступили, но пока не очень далеко, так что Задонецк все еще был, можно сказать, на линии фронта. Чего же удивляться, что неподалеку от дома, старшего сына задержали, посчитав его по возрасту подходящим для военной службы и заподозрив в дезертирстве? А среднего сына отпустили.

Средний сын Петра Степановича добрался до своего дома, нашел его полуразрушенным - без двери, без окон, без галереи. Он стоял перед домом в полной растерянности, когда его окликнула проходившая соседка: «Живы они. Живы!..» Мама с младшим братом нашлись в подвале совхозной конторы, где, кроме них, пряталось от обстрелов человек тридцать. Средний сын вошел туда, мать бросилась к нему: «А где старший?» Средний сын внезапно заплакал, страшно стыдясь при этом своих слез, ведь кругом было столько народу. Но он не мог сдержаться, видно, сказалося напряжение последних дней.

Мама и люди, находящиеся в подвале, подумали, что старшего брата уже нет в живых. Подвалзатих, некоторые тоже утирали слезы.

Катя пошла в город с документами, нашла комендатуру, и вернулась со старшим сыном. Но сил не оставалось никаких, она слегла. Через неделю старшего сына официально мобилизовали в армию – он достиг, наконец, призывного возраста, Катя не смогла даже пойти его проводить, только с большим трудом собрала для него сумку с продуктами на дорогу и ждала, когда он зайдет попрощаться. Он успел заскочить домой, уже в солдатской форме, поцеловал мать, постоял возле нее минутку и побежал садиться на какой-то грузовик, правда, без приготовленной для него сумки с продуктами. Еще до его прихода в дом попросились трое красноармейцев – погреться. Уходя, они решили незаметно прихватить эту сумку с собой – мало ли какие превратности военного времени их ожидали.

Мартовское солнце пригревало, снег сходил, и Катя надеялась, что весной она станет поправляться. Но 24 марта ей стало совсем худо, она стала бредить, звала старшего сына, просила его не умирать, как будто это он умирал... Средний сын сбегал за Любовью Петровной, при ней Катерина и скончалась. Лекарств ведь все равно никаких не было.

Может быть, не случайно последние мысли Кати были о старшем сыне. Его пехотный батальон в этот день двигался по длинному лесному оврагу в направлении, указанном начальством, которое еще не знало, что все они находятся в окружении. Так мало того, над ними еще все время кружил самолет – «Рама» и все высматривал, а у немцев знаете, какая была оптика! Одним словом, внезапно с двух сторон этого оврага появились немецкие танки, а в таких обстоятельствах обычно у танков большие преимущества перед пехотой. Красноармейцы инстинктивно бросились в стороны, под защиту деревьев.

Бросился и старший сын Петра Степановича. Стоял страшный грохот, и он как будто даже приближался, немцы стреляли по бегущим из пулеметов. Бежавший сзади красноармеец Кулаков, из-за фамилии, а возможно также и из-за плотного телосложения носивший прозвище Куркуль, крикнул «Ложись!» Старший сын Петра Степановича вжался в покрытую снегом землю и в ту же минуту Куркуль рухнул на него, придавив своим немалым весом, и тем спас. Сам-то он получил пулю в спину, и ему уже ничто не могло помочь.

Немецкие танки еще немного постреляли и, видимо, не желая больше расходовать боеприпасы, поползли из оврага. Старший сын Петра Степановича переждал какое-то время, а когда урчание моторов сделалось почти неслышным, выкарабкался из-под коченевшего трупа Кулакова, распрямился, укрывшись за нетолстым стволом осины, осторожно огляделся и, не рискнув расстаться с винтовкой, стал пробираться наверх. Так же, видимо, поступили и другие выжившие, потому что, когда старший сын Петра Степановича добрался до верхнего уровня, там уже поджидали немцы, которые отобрав оружие, присоединили его к небольшой группе выбравшихся из оврага красноармейцев. Среди них оказался раненный в руку и стонавший от боли недавний одноклассник старшего сына Петра Степановича Дмитро. Немцы подождали немного, присоединили к группе еще двоих выкарабкавшихся из оврага, привели всех – человек двенадцать – к большой брезентовой палатке, и велели ждать под присмотром одного фрица с автоматом.

Возле палатки два немца играли в шахматы. Один из них проиграл и старший сын Петра Степановича, решив проверить свои знания немецкого языка, предложил победителю сыграть партию. Тот согласился и довольно быстро получил мат.

Все было тихо и мирно, и, почувствовав себя победителем, по крайней мере, в шахматах, старший сын

Петра Степановича спросил, нельзя ли перебинтовать руку его раненному товарищу. Немцы заулыбались, принесли аптечку, и сделали ему перевязку по всем правилам своей немецкой науки. Видно, они тоже чувствовали себя победителями.

Но ближе к вечеру приехал грузовик с какими-то другими немцами, они грубо приказали пленным лезть в кузов, в котором уже было несколько красноармейцев, стали кричать «шнелль!» и чуть ли не подталкивать прикладами, все произошло буквально за одну минуту, грузовик укатил, и с этого момента следы старшего сына Петра Степановича надолго теряются.

После смерти Кати в Задонецке осталось двое детей – одному было 14 лет, другому шел восьмой год. Что с ними было делать в обстоятельствах военного времени? Где-то в Змиеве у них жила бабушка, мать Петра Степановича, но адреса ее никто не знал, да и жива ли она еще, было неизвестно.

Пока среднего сына Петра Степановича приютила семья Маруси, но там он сразу почувствовал себя нежеланным нахлебником. Пошел к директору совхоза просить какой-нибудь работы. По неопытности он боялся, что директор даже не станет с ним разговаривать, а тот, наоборот, обрадовался – паренек возник прямо-таки вовремя.

Директору еще на той неделе пришла разнарядка из райкома партии – выделить одну девушку для работы на военном заводе – на Урале или, может, в другом месте, где людей не хватало. Парни-то все были на фронте. Но кого он ни выберет, сразу прибегают матери – и ни в какую! Да еще подарки приносят по дружбе! А тут – сирота.

– Хорошо, что ты непризывного возраста, - размышлял директор вслух. – Мы скажем, что тебе 16 лет, должно пройти. Получишь там специальность.

Так средний сын Петра Степановича оказался в Куйбышеве.

А младшего взяла к себе, не видя другого выхода, тетя Люба, хотя жившая при ней ее мать была недовольна, опасаясь, что втроем они не прокормятся. Люба же всегда хотела иметь сына, но не получилось. И она сказала матери:

– Если бы свой был, мы бы его не выгнали, прокормили бы. Прокормим и этого.

Вернется или не вернется Петр Степанович или кто-то из его сыновей, она тогда не думала. Хорошо еще, что советская власть вернулась. Но зимой 1944 года неожиданно появился и Петр Степанович.

3

Когда Петр Степанович возвратился из заключения, он сразу хотел забрать своего младшего сына, не сообразив еще по-настоящему, как он будет жить с ним в своем опустевшем очаге. А Люба привыкла уже к мальчику, и он к ней привык. Она понимала, что ребенка придется отдать, но все оттягивала этот момент.

– Петр Степанович, – говорила она, – куда вам сейчас брать ребенка, у вас у самого ни кола, ни двора. Зачем травмировать мальчика? Вы устройтесь сначала, обзаведенье какое-то сделайте, тогда и заберете. А пока пусть поживет в привычной обстановке. Видаться с ним вы сможете в любой момент – приходите и выдайтесь.

Петр Степанович и стал приходиться почти что каждый вечер. Если бы не стеснялся быть навязчивым, приходил бы и каждый. Днем он работал, мотался по совхозам, составлял всякие планы и отчеты, вообще восстанавливал свеклосахарное производство района, сильно пострадавшее от оккупации, отсутствия мужчин и других неурядиц военного времени. Но вечером... Одиноко было Петру Степановичу по вечерам, тоскливо. Он крепился-крепился, пропускал день-другой, а потом все-таки шел к Любе – он, правда, всегда официально именовал ее Любовью Петровной – повидаться с младшим сыном,

конечно, но не только. Он у нее вообще как-то хорошо себя чувствовал, с ней можно было поговорить. Любовь Петровна поила Петра Степановича чаем и внимательно слушала его рассуждения о перспективах свеклосахарного производства, о роли агронома, которого у нас никогда не умели ценить, но, конечно, и о вещах более общих, всегда занимавших ум Петра Степановича. В то время он серьезно задумывался о послевоенном устройстве мира. Петр Степанович склонялся к тому, что в интересах полного избавления от войн должно быть создано Всемирное правительство. Но согласятся ли с этим его предложением американцы? англичане? Они, конечно, вынуждены были вступить с нами в союз, чтобы не оказаться под властью Гитлера, но когда Гитлера не будет, снова могут возобладать их эгоистические интересы.

Любовь Петровна так высоко не летала, но все же и у нее находилось, что сказать в пользу Всемирного правительства. Например, однажды у них в больнице оказался английский офицер, находившийся здесь с какой-то миссией и внезапно заболевший дизентерией. Так если не считать того, что он не говорил по-русски, он ничем не отличался от нормальных людей, даже дизентерией болел так же, как и мы. А немцы! На них-то она вдоволь насмотрелась, пока они здесь были. Среди них тоже были вполне нормальные люди. А итальянцы! Тут она начинала смеяться, у нее был очень приятный смех. По ее рассказам, итальянцы носили смешные шляпы с перьями и передвигались на мулах. В лютый мороз они просились в дом. Им говорили, что в доме тесно, нет места, а они отвечали, как малые дети: «Нам не интерес карашо, нам интерес жарко». Когда они заходили, ботинки их были расшнурованы, чтобы поскорее ноги оказались в тепле. А румыны, которые дали младшему сыну Петра Степановича котелок с похлебкой!

– Так что все – люди, – заключала свой международный обзор Любовь Петровна, – я думаю, даже негры не слишком от нас отличаются.

Петр Степанович не рискнул признаться, что никогда не видел живого негра, но и он, конечно, не сомневался, что негры – такие же люди, как и мы, и что когда-нибудь и негр сможет занять пост председателя Всемирного правительства.

Само собой, Петр Степанович не раз все обдумал, прежде чем прямо сказать в один из таких вечеров.

– Любовь Петровна, вы остались одна, и я овдовел. Давайте соединим наши жизни.

Но если вдуматься, так все само к тому и шло. Младший сын и без того признавал Любовь Петровну за мать, даже называл ее «мама Люба», и она уже привыкла к нему, как к сыну. Петр Степанович хоть и был старше нее, но всего на десять лет, сверстников же Любви Петровны после войны, сами понимаете, было не густо. А после пронесшегося надо всеми урагана, после всевозможных потерь и разорений, следы которых видны были и в личной жизни, всем хотелось почувствовать какую-то опору. Петр Степанович, со своей стороны, как-то лучше рассмотрел Любовь Петровну и убедился, что может на ней жениться. Правда, она была медицинским работником, а в молодости у Петра Степановича было предубеждение к таким женщинам. Ее поцелуешь в приливе хороших чувств, а она столкнется с вашими зубами, и в голове у нее сразу: «у человека тридцать два зуба: восемь резцов, четыре клыка и двадцать зубов коренных». Однажды в те поры он объяснял одной молодой особе, почему для любви вредны медицинские знания:

– Я вот вас люблю, способен вами восхищаться, сравнивать вас с Венерой себя могу считать Демоном, но тут же – рядом – нарастают мысли отравляющие всю поэзию, весь романтизм! Вы красавица, а рядом анатомия

и физиология: я вижу ваш скелет, кишечник, голову в разрезе и ваши мозги с серым и белым веществом...

Помнится, эти объяснения вызвали неоднозначную реакцию. Венера и красавица были восприняты с плюсом, но кишечник и особенно скелет так смутили бедную девушку, что ухаживание за нею пришлось прервать.

Теперь таких запросов, как в молодости, когда Петр Степанович измерял проценты любви, у него уже не было, но все-таки он и сейчас все взвесил и пришел к положительным выводам. А будучи человеком наблюдательным, он, по некоторым признакам, предположил, что и Любовь Петровна будет не против его предложения. Окончательное решение Петр Степанович принял в бане, когда, освободившись от одежды и оставшись наедине со своим мужским естеством и окатив себя водой из шайки, он ощутил в себе прилив сил, которых, как ему казалось, у него уже почти не осталось.

Он не ошибся, и как-то все у них хорошо пошло, он даже не ожидал, считая себя уже почти стариком. А оказалось, что нет...

Петр Степанович и Любовь Петровна сначала жили, не расписываясь, но потом, ближе к концу войны, решили, что, пожалуй, большого смысла в этом нет, лучше узаконить отношения. Весной сорок пятого года они расписались и даже отметили это событие небольшой вечеринкой. С тех пор немало воды утекло...

4

Братья съехались в Задонецке, как и планировали, в начале августа – младший прилетел в Харьков, и оттуда уже – вместе со старшим – прибыли автобусом в Задонецк. А средний приехал на поезде прямо из Краматорска. Когда все съехались, Петру Степановичу торжественно вручили пишущую машинку Erika, которую отец аспиранта старшего сына Петра Степановича, в конце концов, достал через директора «Военторга».

Петр Степанович был очень доволен, рассматривал машинку со всех сторон, расспрашивал, как ею пользоваться, потом бережно уложил в футляр и унес в свою комнату. Вообще видно было, что Петр Степанович чрезвычайно рад этой встрече, он прямо светился, но при этом держался независимо и особого желания уезжать из дому не высказывал, а разговоры все больше переводил на формологию и другие свои излюбленные идеи, которые он неумоимо развивал в «Заметках дилетанта».

Время было отпускное, гостевание затянулось на неделю, а в середине недели, одолжив у соседа-рыбака польскую оранжевую палатку, братья взяли такси и отъехали на знакомое с детства место в лесу, на берегу Донца, километрах в 20 от города. Когда-то ездили туда на лошади, на отцовской бричке, бывали и потом, но порознь, со своими детьми. А теперь решили съездить втроем. Поначалу вроде бы и не собирались, но младший брат уговорил, ему, видно, и впрямь казалось, что вернулось детство.

Донец, во всяком случае, не изменился, как и маленькие песчаные отмели на левом пологом берегу – чудесные пляжи детских лет. Река в тех местах мчится быстро, против течения не поплывешь, поэтому отходили подальше вверх, а потом плыли до своей отмели и там с удовольствием прижимались к горячему песку, как делали в детстве. И трава в горячем воздухе пахла, как в детстве. А то, что жизнь была уже не впереди, как когда-то, а больше позади, о том вспоминать не хотелось и не вспоминалось.

Младший брат заботился о загаре, весь день ходил в плавках, разве что только нательный крестик не снимал да темные очки надевал, когда нужно было. Об этом крестике уже был у них короткий разговор, в первый же день в Задонецке, как только старший брат его узрел с удивлением.

– Ты же партийный!

– А что, нельзя быть партийным и православным? И ты же знаешь, какой я партийный.

– Ну, партия ладно, но, выходит, и наш батька зря старался, – сказал старший брат вроде бы нейтральным тоном, а может, и насмешливо, кто его знает. Как ни крути, а намекал он на давнюю историю, которую иначе как со смехом в молодые годы не рассказывали.

Сразу после войны мать Петра Степановича продала свой дом в Змиеве, где у нее никого уже не осталось, и купила дом поменьше в Задонецке, поближе к сыну. Была она женщина богомольная, и характер у нее был трудный, неуживчивый. Большой близости ни с Петром Степановичем, ни с Любовью Петровной у нее не получилось, покойную Катю она вообще всегда недолюбливала, а вот в младшем сыне Петра Степановича она увидела легкую добычу. Стала брать его с собой в церковь, приучала молиться вместе с нею, уговорила креститься и заставила носить крестик. Младшему сыну Петра Степановича все это было даже интересно, сам же Петр Степанович ни о чем не подозревал. Но однажды, в осенний слякотный день, в воскресенье, когда Петр Степанович был дома, младший сын, прибежав с улицы и опасаясь нанести грязи в дом, за что можно было и оплеуху схлопотать, – Петр Степанович был далеко не святой, как, может быть, некоторые думают, – стал разуваться на пороге. Он нагнулся, чтобы расшнуровать ботинки, а крестик возьми и вывалился из-за рубашки, да еще и окажись в поле зрения Петра Степановича.

– Это что такое? – грозно спросил Петр Степанович, тоже имевший свои убеждения.

Он взял крестик в кулак и довольно сильно дернул, младший сын Петра Степановича почувствовал это своей шеей. Шнурку же, на котором держался крестик, и вовсе не повезло: он порвался. Крестик остался в руке Петра Степановича. Он тут же подошел к топившейся на кухне

печке, открыл дверцу и с яростью бросил крестик с остатками шнура в огонь.

Младший сын Петра Степановича растерялся, а, главное, испугался за отца. По его тогдашним представлениям, отца ждала немедленная кара, столь безумное богохульство не могло остаться безнаказанным. Но ни немедленно, ни через некоторое время кара не последовала, и в душе младшего сына Петра Степановича зародились сомнения. Оказывается, и в таком невинном возрасте человеку нужна мировоззренческая ясность, и младший сын Петра Степановича решил прояснить все до конца.

Церковь, возле которой некогда стояла румынская полевая кухня и где впоследствии он не раз бывал с бабушкой, стояла на той же улице, что и его школа и еще несколько достойных упоминания зданий, например, чайная и даже милиция. Когда-то, при царе Горохе, эта улица была мощеной, и некоторые удачливые люди, представьте, имели обыкновение проноситься по ней на пролетках с рессорами. Но позднее, уже при техническом прогрессе, дореволюционное мощение оказалось не в состоянии выдержать напора колес грузовиков, тракторных, а в лихую годину и танковых гусениц, от слабого дореволюционного мощения остались еще более слабые воспоминания.

Вот на этой-то улице младший сын Петра Степановича и подстерег отца Якова, возвращавшегося из церкви домой. Младший сын Петра Степановича уважал отца Якова, правда, уважал, если можно так выразиться, с чужих слов. Тогда много горя было вокруг, и он слышал, как женщины в церкви, разговаривая между собой, хвалили отца Якова за то, что он очень хорошо служил, что он находил для них слова утешения, сравнивали его с какими-то другими священниками, которых они знали, и приходили к выводу, что он – самый лучший. Послушав эти разговоры, стал уважать отца Якова и младший сын Петра Степановича.

Подтянув рясу повыше, худой, долговязый отец Яков осторожно брел от церкви по грязи, выискивая остатки былого мощения, – все же, думал отец Яков, идти по проезжей части лучше, чем по совсем уже расквашенному тротуару, где не было и этих остатков. Где-то на середине дороги младший сын Петра Степановича и перехватил отца Якова, возник перед ним и спросил:

– Отець Яків, скажіть, будь ласка, Бог є?

– Отец Яков остановился, положил руку на плечо младшего сына Петра Степановича, который едва доходил ему до пояса, немного подумал и произнес внятно и строго:

– Бога нема!

Постоял секунду, снял руку с плеча мальчика и пошел дальше, не оглядываясь.

Когда в следующий раз бабушка позвала младшего сына Петра Степановича помолиться, он довольно нахально сказал ей:

– Бабушка, ты молись сама. Мне надо уроки учить.

Бабушка отступилась не сразу, но когда поняла, что внук потерял для Бога навсегда, зачислила его в вероотступники и не простила до конца своих дней.

Бабушка умерла, когда младший сын Петра Степановича был уже студентом. Петр Степанович не был бы Петром Степановичем, если бы и в этот горестный момент не провел воспитательной работы и не высказал свои атеистические убеждения. Во всяком случае, младший сын Петра Степановича получил от него такое письмо.

«16 октября в 8 часов утра умерла наша бабушка, проживши 84 года и 8 дней. Поскольку бабушка завещала хоронить ее со строгим соблюдением ритуалов религии, а в Задонецке мне было бы трудно это сделать, я повез ее к тете Гале, где и организовали похороны по всем правилам ритуального кодекса.

Поскольку бабушка из состава моих иждивенцев вышла, то при наличии троек у тебя нет надежды на получение

стипендии. Тебе нужны будут теперь только четверки и пятерки.

Бабушка три-четыре дня до смерти жутко страдала от боли, и было стыдно за бога, который проявил к своей рабе такое «милосердие». Каким надо быть подлецом, чтобы так щедро снабжать милосердием своих рабов и не терять названия «милосердного» бога!»

И вот теперь, можно сказать, на старости лет, младший сын Петра Степановича, это дитя безбожного века, вдруг нацепил крест, стал регулярно ходить в церковь, называя ее не иначе как храмом, соблюдал, оказывается, посты. Все это для братьев было новостью и новостью не совсем понятной. Хотелось поговорить, но вопрос-то деликатный, и, главное, братьям – и старшему, и среднему – трудно было выбрать исходные позиции для такого разговора. Критиковать религию? Советская власть и без них это делала – и делала прекрасно. А что им самим нередко хотелось спрятаться от этой власти в каком-нибудь монастыре, – так это совсем другой вопрос. Прочитать лекцию по натурфилософии? На то был отец, но и его усилия, как видим, оказались не очень успешными. И зачем лезть в душу человеку, даже и родному брату? В общем, разговор как-то откладывался...

В очередной раз выйдя из воды, братья растянулись на песке и снова стали говорить об отце (начали они этот разговор еще вечером). Сошлись на том, что надо его кому-то забирать к себе, особого-то выбора не было. Младший брат отпадал – не ехать же старику в Сибирь! Сам-то младший брат не возражал, не без основания замечая, что и в Сибири живут люди. Да и Новосибирск – не такая уже Сибирь, а когда живешь в стандартной хрущевке, то вообще нет никакой разницы. Но все же, трезво оценив норы Петра Степановича, братья сошлись на том, что так далеко от родных мест он не уедет. Оставались Харьков и Краматорск, и надо было начинать готовить к этому отца.

Постепенно тема исчерпалась, зной сморил всех, и братья задремали, впрочем, ненадолго. Первым очнулся младший брат, поднялся с песка и пошел к палатке взять темные очки. Старший поднял голову и посмотрел ему вслед.

Младшему брату шел уже пятый десяток, но ему как-то удавалось сохранять свою атлетическую фигуру гимнаста, стал только немного сутулиться. «Как ксендз, – почему-то подумалось старшему брату, хотя он, скорее всего, никогда и не видел живого ксендза. – Может ему кажется, что так он выглядит солиднее?» Но все равно могучая спина впечатляла.

– Как это тебе удастся поддерживать форму? – спросил он, когда младший вернулся и, напялив очки, снова распростерся на песке, теперь уже пузом вверх. – Ты что, регулярно тренируешься?

– Регулярно, конечно, нет, но когда могу, – хожу в зал. Меня там все знают, могу прийти в любой момент. Для меня важно не только то, что там брусья есть и перекладина. Для меня там вся обстановка – родная. Особый запах спортивных залов, раздевалок... Я сросся с этим. И потом я люблю общаться со спортсменами. Это мне нужно как журналисту, помогает видеть изнанку событий. В спорте всегда есть своя интрига, ее можно понять только изнутри...

- И у вас интриги? – подал голос средний брат. Он, как вышли из воды последний раз и разлеглись на пляже, так сразу и заснул. Видно, большой недосып накопился, не часто ему приходилось валяться без дела. Разговор братьев его разбудил.

– Да нет, я не о том. В спорте путь к победе зависит от очень многих обстоятельств, и их надо знать и понимать, это я и имею в виду. А как раз таких интриг, как в советском учреждении или... – он поколебался – или даже как в церкви, в спорте меньше всего. Бывает, конечно, но мало. Там человек нацелен на результат. В Академии наук

можно сделать карьеру, выступая на партийных собраниях. А здесь тебе надо забивать голы или выигрывать бои, без этого ты – никто. Хочешь чего-то добиться – работай, а не занимайся демагогией, и каждый это понимает, для шелухи просто не остается места. Я много общаюсь с ребятами, иногда совсем молодыми, они очень трезво смотрят на жизнь. В школе, в институте им, как и всем, вешают комсомольскую лапшу на уши, а к ним ничего не прилипает. Леонид Ильич их, в лучшем случае, интересуется как тема для анекдотов, а то и вовсе не интересуется. Да, кстати, и ваш Анатолий Максимович им тоже до одного места.

– Так, может, их вообще ничто не интересует?

– Просто они люди дела. Будь моя воля, я бы на высшие государственные посты назначал только спортсменов. Меньше было бы тумана.

– Только этого нам не хватало! – средний брат дремал-то дремал, а, оказывается, слушал и довольно внимательно. – Помнишь, что тебе отец когда-то написал по поводу твоего восхищения спортсменами? Ты сам же мне и рассказывал.

– Ты про что? – не понял младший.

– Про «Тараса Бульбу». «Тараса Бульбу» они напишут? А тем более, «Мертвые души»?

– При чем тут «Тарас Бульба»? – не понял младший брат.

– А при том! Одно дело лясы точить в спортивной раздевалке, а другое – управлять государством. Спорт – это игра, там все намного проще, чем в жизни. А в политике эта простота – хуже воровства. По-моему, нами как раз и управляют какие-то спортсмены: сила есть – ума не надо!

– Да ты же их не знаешь! – обиделся за спортсменов младший брат. – Они поумнее наших политиков, да и почестнее...

5

День клонился к вечеру, пора разводить костер, готовить ужин, но жаль было расставаться с теплым песочком.

– Смотрите, как красиво сверкают весла, - сказал средний брат. – Ему не хотелось продолжать разговор, перераставший в спор.

Все повернулись к реке и увидели выходящую из-за поворота маленькую флотилию байдарок – одна, потом другая, третья... На каждой было по два гребца, весла слаженно опускались и поднимались, дюралевые лопасти, взлетая, вспыхивали на закатном солнце.

Это была уже третья группа байдарочников, проходившая мимо, и старший брат всякий раз беспокоился, что они причалят к их отмели и все испортят своим присутствием. Но байдарки проходили мимо.

Он и на этот раз напрягся, сидел с непроницаемым негостеприимным лицом, а его вдруг окликнули с байдарки по имени. Вот тебе и на! Это, оказывается, был его коллега-физик, из его же института. По всем правилам надо было бы его пригласить причалить, да он и сам начал сворачивать к их отмели. Радостно улыбаясь, старший брат подошел к кромке воды.

– Привет, Вахтанг! – сказал он дружелюбно. – Если вы собираетесь делать привал, там чуть ниже за поворотом есть хорошая стоянка – чистый пляж и сход к воде очень удобный.

Вахтанг понял, поблагодарил и стал отгребать от берега. Старший брат почувствовал некоторую неловкость и крикнул ему вдогонку:

– Устройтесь, приходи в гости!

– Грузин, что ли? – спросил младший брат, когда байдарки ушли за поворот.

– Да, это наша восходящая звезда, - ответил старший. – Головастый! В 30 лет был уже доктором наук.

– У нас тоже что-то много грузин появилось, – сказал младший.

– Ну, в спорте их всегда много было, - возразил средний.
– Борцы, футболисты...

– Да не о спортсменах я говорю! В спорте ты выиграл – ты и чемпион. А у нас главврач в больнице – Цуладзе. Какие соревнования он выиграл, что стал главврачом?

– Кто-то же должен быть главврачом, – не сдавался средний брат. – Он что, хуже лечит?

– Лечит он, может, и не хуже. Но и не лучше. Почему как начальник – так грузин? Что у нас врачей своих нет?

– Может и нет, – вмешался старший. – Евреи уезжают – приезжают грузины. Ты у отца нашего спроси. Он одному Сергею Львовичу доверял, а как тот уехал, его к врачу не заставишь. Заладил одно: они там все – коновалы, а не врачи, чего я буду к ним ходить! Вот если бы был Сергей Львович...

– А я и не знал, что Сергей Львович уехал, – сказал средний брат.

– Опять же с этими отъездами, – не уступал младший. – По Петру Степановичу судить нельзя, ты нашего батьку знаешь: если он упрется, его с места не сдвинешь, так ведь это не значит, что он всегда прав. Я с Сергеем Львовичем не встречался, только от мамы Любы о нем слышал. Может, он и хороший был врач, но я уверен, многие другие – не хуже, хоть они из Задонецка, а не из Иерусалима.

– А он откуда, по-твоему? – спросил средний брат. – В одной с тобой школе учился.

– Ну, это я так сказал. Теперь-то уже – из Иерусалима или уж не знаю, где он там живет. Хотят уезжать – пусть уезжают. И не надо их держать, тем более, как у нас это делают.

– А как у нас делают? – не унимался средний брат.

– Могу тебе рассказать. У нас недавно в одном институте была интересная история, знаю со слов Лёшки – моего соседа, который там работает. Да я и от других слышал из этого института, Академгородок маленький,

там все друг с другом знакомы. Переаттестовывался на старшего научного математик Финкель, подавший заявление на выезд из СССР. Собирались его провалить как не соответствующего должности по деловым качествам, но... Как говорят злые языки, институтский «кнессет» не мог этого допустить и не допустил. Тринадцатью голосами против одиннадцати проголосовали за него. Есть у них такой Слава Гольц, я его, между прочим, часто в спортзале встречаю, довольно приличный волейболист, так он с трибуны заявил, что своими работами Финкель, возможно, принесет институту мировую славу. Возможно! Херня какая-то! Он начал славословие, а Леня Петренко, которого ты знаешь (это было адресовано старшему брату), он когда-то в Харькове работал, с еще одним математиком, Городецким завершили. Леня Петренко вообще меня удивил своей непоследовательностью. Финкеля хвалил, а Гуревича, сам мне говорил, терпеть не может...

– В чем же непоследовательность? – удивился средний брат.

– Ты спроси у нашего старшего брата. В такой же ситуации в московском институте его дружка Генделя единогласно вынудили уйти с работы, хоть он и правда, говорят, выдающийся физик, а у нас... Трудно непросвещенному разобраться, но на душе от этого противно.

Среднему брату, видно, надоело лежать, он сел, повытряхивал песок из волос, потом аккуратным жестом поправил сползший набок крестик на груди у младшего брата и спросил ехидным голосом:

– Где это ты научился так хорошо отличать еллина от иудея? Не в храме ли твоём?

Поднялся, пошел к кострищу возле палатки и стал рубить топориком сушняк для костра.

– Чего это он? – младший брат повернулся к старшему в поисках поддержки. – Что я такого сказал? Они сами

лучше нас знают, где иудей, а где еллин, потому и уезжают.

– А ты бы как повел себя на их месте?

– А какое у них место? Говорят, им здесь плохо. А ему хорошо? – он кивнул в сторону среднего брата. – Он же никуда не уезжает.

– Мог бы – уехал бы, – донеслось от костра. – Только некуда. Еврей может уехать в Израиль, чтобы почувствовать себя евреем. А куда мне уехать, чтобы почувствовать себя украинцем?

– Не знаю, – сказал старший брат. – Тут много непонятного. Гуревич, коего ты помянул, мне тоже известен, и я тоже терпеть его не могу, гнусный тип. Но не гнуснее нашего Савченко – спать не ляжет, пока не наступит на кого-нибудь, хоть его давно уже никто не слушает. О чем это говорит? Да ни о чем. У меня есть приятель Федор, можно сказать, с армейских времен, потом в университете вместе учились. Ты его знаешь, кажется? После университета его сделали секретарем райкома комсомола, хоть он и сопротивлялся. Но он в армии еще вступил в вашу партию, его и обязали в порядке партийной дисциплины. И все равно, партийной карьеры делать не стал, как только смог, ушел из райкома, сейчас работает на кафедре математики в политехническом институте. Вроде порядочный человек. А мне хвастался, что наловчился составлять нерешаемые задачи по математике, на вступительных экзаменах их дают абитуриентам-евреям, чтобы их завалить. Господь ведает, на хрена это ему нужно. Но если ты об этом знаешь, и у тебя растут сын или дочь, которым надо поступать в институт, как не захотеть уехать? И я ведь тоже не раздружился с Федором...

Стемнело, братья собрались у костра, разложили на подстилке привезенную с собой снедь. У старшего брата была фляжка с водкой, он стал разливать, но младший отказался, налил себе томатного сока. Чокнулись, выпили

– каждый свое, поставили кружки, и младший брат с удивлением уставился во тьму, в которой, то появляясь, то исчезая за деревьями, но явно приближаясь к ним, двигался огонек.

Впрочем, особенно можно было и не удивляться. Это был фонарик Вахтанга, пришедшего с визитом вежливости. Ему тоже налили, он стал рассказывать о своих успехах по части рыбной ловли на предыдущих стоянках, о том, что он уже поставил удочки и на новом месте, – спасибо, что ты мне посоветовал такое прекрасное место, – сказал он старшему брату.

Вахтанг говорил по-русски совершенно чисто, хотя его и выдавала свойственная многим грузинам интонация, пусть и еле заметная, но придававшая его русской речи какую-то особую звуковую изысканность. Постепенно тема разговора расширилась, от рыбной ловли перешли к жизни вообще, конечно, и к политике. Младший брат бывал в Грузии и сказал, что когда туда приезжаешь из Новосибирска, кажется, что там все живут очень хорошо, намного лучше, чем в России или на Украине. Но вот он недавно посмотрел фильм «Пастораль» и понял, что за красивым фасадом тоже не все ладно, а кое-что, может быть, даже еще хуже, чем в России. Не такие уж грузины святые.

– Ну конечно, - подхватил Вахтанг, – какие святые? Вы слышали анекдот? Приходит Гога к друзьям и говорит: срочно продаю подпольную фабрику по производству кепок – знаете такие большие кепки, какие грузины любят носить? – повернулся Вахтанг к младшему брату. Тот кивнул.

– Ну вот. Друзья в недоумении: Гога, ты что, с ума спятил? Такое выгодное дело, зачем продавать? Да понимаете, говорит Гога, райком партии покупаю, денег не хватает!

Все хмыкнули, но младший брат не расслабился:

– Анекдот – анекдотом, а живете богаче, это правда. Почему так?

– Я не знаю, живем богаче или лучше пускаем пыль в глаза, - сказал Вахтанг. – Хотя, конечно, Грузия – замечательная страна, я ее очень люблю. У нас все самое лучшее. Я недавно был в Тбилиси и совсем не удивился, когда мне один мой коллега-математик сказал, что второе пришествие Мессии состоится в ближайшее время и именно в Грузии. Это уже точно известно.

– Почему именно в Грузии? – удивился младший брат.

– Вы же не спрашиваете, почему Ноев ковчег пришвартовался в Армении – если, конечно, считать Арарат армянским. А это наши ближайшие соседи. Место такое. А вы хотите, чтобы второе пришествие состоялось в Новосибирске? Разве грузины не заслуживают Пришествия больше других?

– Что вы этим хотите сказать?! – не понял младший брат.

– Я хочу этим сказать, - сказал Вахтанг, ковыряя палкой угли в костре, – что грузины – такие же дураки, как и все остальные. И больше ничего.

– Потому что верят во второе пришествие? - заинтересовался средний брат.

– И поэтому тоже, – невозмутимо ответил Вахтанг.

– Ну, тогда я с вами согласен! – Средний брат выглядел удовлетворенным, а младший-то как раз и нет. И он не преминул сообщить об этом среднему брату, уязвив мимоходом и Вахтанга.

–Зачем ты все время подчеркиваешь свое безбожие? Конечно, эти грузинские сказки – ерунда, в Библии сказано, что никто не знает ни дня, ни часа, когда явится Сын Человеческий. А тем более – где. Но ты смеешься над самым пророчеством. У тебя есть доказательства, что оно неверно? Никаких! Просто не верю – и все. Но это – такая же вера, как и у тех, кто верит в противоположное. Почему же ты так убежден в своей правоте? Ты хоть Библию читал когда-нибудь?

– Интересно, где бы я эту Библию взял? Ее что, можно в магазине купить? Но даже если бы и читал, – Библия – Библией, но я ведь и на жизнь смотрю. «I, голову схопивши в руки, дивуюся, чому не йде Апостол правди і науки». Ти пам'ятаєш ці вірші? Ти ж їх ще й намагався перекладати¹.

– Было дело. Только сейчас речь не о том. Тогда веры не было, а теперь есть. Мне тебя не переубедить, я и пробовать не стану. Приезжай к нам, познакомлю тебя с отцом Михаилом, я тебе рассказывал. Поговоришь с ним, может он тебя проймет. Зачем-то же нужна была вера человеку тысячи лет. А мы что о себе возомнили?

– Да ничего я о себе не возомнил! Людей без веры не бывает. Весь вопрос, во что верить. Если ты читал «Дон-Кихота» или «Воскресение», не догадались отобрать, то тебе не нужен никакой отец Михаил, он тебе большего не скажет. Моему христианству, если это можно назвать христианством, не нужна вера во второе пришествие, а тем более в твоего отца Михаила. Христианином можно быть и без храма – слово «храм» он вымолвил с передразнивающей интонацией, как бы взял его в невидимые кавычки.

– Выходит, вы беспартийный христианин, – то ли спросил, то ли констатировал Вахтанг, с неожиданным интересом взглянув на среднего брата.

– Что-то вроде этого, – подтвердил средний брат. – Я, когда оказался в лагере, стучал на других, меня опер тамошний сразу завербовал, образцового сержанта! Конечно, фильтровал то, что ему рассказывал, надеюсь, никого по-серьезному не заложил, а все же стучал, да еще и оправдывал себя, понимая в душе, что грязью занимаюсь. А потом отказался: не буду – и всё! Вот тогда я

¹ «И, голову склонив на руки, не понимаю, где же тот, Апостол правды и науки» (Т.Шевченко. Перевод младшего сына Петра Степановича). Ты помнишь эти стихи? Ты же их еще пытался переводить (укр.)

и стал христианином. А церкви у нас там не было, да она и не была мне нужна.

– Тебе не нужна, а другим нужна, - не уступал младший брат. – А рассуждать как ты – так можно и разрушение храмов оправдать.

– Я разрушения храмов не оправдываю и согласен, что многим церковь нужна, – чтобы замаливать грехи. А жить праведно можно и без церкви.

Младший брат, кажется, обиделся, это было видно по тому, как он несогласно покачал головой, как привычно подпер языком щеку – с детства знакомая братьям мимика, признак внутренней сосредоточенности. Он хотел что-то возразить, но его опередил старший брат.

До того времени он не вмешивался в спор, слушал снисходительно. Все-таки он был постарше – и по возрасту, и по положению, споров таких он за свою жизнь наслушался – ой-ой-ой! Но разговор, похоже, стал съезжать не туда. Историю о лагерном стукачестве среднего брата он не раз слышал, тот всю жизнь ею мучился. Только зачем растравливать раны, да еще перед чужим человеком? А как мог истолковать его слова о замаливании грехов младший брат? Надо было сменить регистр. И он спросил, не утрачивая своей снисходительности:

– Вот ты, Вахтанг, великий физик, как ты считаешь: Бог есть?

– Разумеется, есть! – развел руками Вахтанг, не поколебавшись и секунды. – Это даже более достоверно, чем то, что я великий физик. Как же можно без Бога? Бог – венец человеческого творения! Некоторые ведут начало человеческой истории от открытия огня, но я с ними не согласен. Огонь что? Это материальная сила. Обезьяна с огнем, но без Бога – это еще обезьяна. А человек стал человеком только тогда, когда изобрел Бога и обрел силу духовную! Бог есть!

Снова настала пауза. Старший брат хотел что-то спросить, но Вахтанг уже поднялся.

– Извините, друзья, надо идти, а то мои уже, наверно, волнуются. Спасибо за угощение и за интересный разговор. Приятно было познакомиться – Вахтанг дружелюбно улыбнулся в сторону среднего и младшего братьев, помахал рукой на прощанье и растворился в темноте. Несколько секунд свет его фонарика еще мелькал среди деревьев, а затем исчез и он.

Помолчали, а потом средний брат произнес:

– Какие разные бывают грузины.

– Много ли ты их знал? – поинтересовался младший брат, еще не остывший от спора.

– Знал одного, - сказал средний, поднялся и ушел к палатке.

Братья думали, что он сейчас вернется, но он не вернулся. Видно, лег спать.

А младшему брату хотелось еще посидеть. Он подбросил дров, вспыхнувшее пламя осветило лицо старшего, сидевшего по другую сторону костра. Было очень тихо, в реке плеснула рыба.

– Кого он имел в виду? Я что-то не понял...

Старший брат пожал плечами.

– Мог бы и догадаться. Мы его все знали.

БАХЫТ КЕНЖЕЕВ

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

Прошло, померкло, отгорело,
нет ни позора, ни вины.
Все, подлежавшие расстрелу,
убиты и погребены.

И только ветер, сдвинув брови,
стучит в квартиры до утра,
где спят лакейских предисловий
испытанные мастера.

А мне-то, грешному, все яма
мерещится в гнилой тайге,
где тлеют кости Мандельштама
с фанерной биркой на ноге.

1974

Лета к суровой прозе клонят
лета шалунью рифму гонят
ее прозрачные глаза
омыла синяя слеза
она уже другому снится
диктует первую страницу
и радуясь его письму
ерошит волосы ему

чужие души ветер носит
то в небеса то в яму бросит
они до самой тишины
минувшей осени верны
а мне остался безымянный
вокзал и воздух голубой
где бредит мальчик самозванный
помятой медною трубой

Когда в беспечном море тонет
жителейской юности челнок
полночный ветер валит с ног
к суровой прозе годы клонят —
душа качается и стонет
и время погибать всерьез
шалунью рифму годы гонят
из теплой кухни на мороз

а мальчик с гулкою трубою
так ничего и не сказал
когда вступал вдвоем с тобою
на переполненный вокзал
в глаза мне сыплется известка
сухая музыка быстра
и ни веревки нет
ни воска
ни ястребиного пера

1976

Ю.Кублановскому

Такие бесы в небе крутятся —
Господь спаси и сохрани!
До наступления распутицы
Остались считанные дни.

Какое отыскать занятие,
Чтоб дотянулось до весны?
Мне лица монастырской братии
Давно постылы и скучны.

И не спасись мне перепискою,
Не тронуть легкого пера,
Когда такое небо низкое,
И воют волки до утра

В продрогших рощах... Мать чистая,
Пошли свое знаменье мне,
Дай мне услышать твой неистовый,
Твой нежный голос в тишине!

Ни серафима огнекрылого,
Ни богомольца, ни купца.
Сто верст от тихого Кириллова
До славного Череповца.

А осень, осень кровью пламенной
Бежит по речке голубой –
В гробу дубовом, в келье каменной
Дыши спокойно... Бог с тобой.

1976

собираясь в гости к жизни
надо светлые глаза
свитер молодости грешной
и гитару на плечо

собираясь в гости к смерти
надо черные штаны
снежно белую рубаху
узкий галстук тишины

при последнем поцелуе
надо вспомнить хорошо
все повадки музыканта
и тугой его смычок

кто затаит эту встречу
тот вернется слишком пьян
и забудет как играли
скрипка ива и туман

осторожно сквозь сугробы
тихо тихо дверь открыть
возвращением поздним чтобы
никого не разбудить

1978

Я все тебе отдам, я камнем брошусь в воду —
но кто меня тогда отпустит на свободу,

умоет ноги мне, назначит смерти срок,
над рюмкою моей развинтит перстенок?

Мелькает стрекоза в полете бестолковом,
колеблется душа меж синим и лиловым,

сырую гладь реки и ветренный залив
в глазах фасеточных стократно повторив.

О чем ты говоришь? Ей ничего не надо,
ни тяжести земной, ни облачной отрады,

пусть не умеет жить и не умеет петь —
одна утеха ей — лететь, лететь, лететь,

пока над вереском, над кочками болота
Господь не оборвет беспечного полета,

покуда не ушли в болотный жирный ил
соцветья наших глаз, обрывки наших крыл...

1978

Открыть глаза — и с неба огневого
ударит в землю звездная струя.
Еще темно, а сон пылает снова,
и я тебе не брат и не судья.

Трещит свеча. Летучий сумрак светел,
вбегай в него тропинкою любой.
Я засыпал, но там тебя не встретил.
Когда умрешь, возьми меня с собой.
И тень моя, как газовое пламя,
оставит охладевшее жильё,
чтобы унять бесплодными губами
горящее дыхание твое.

Не призрак, нет, скорее пробуждение.
Кружится яблоко на блюде золотом.
Что обещать на счастье в день рождения,
чтобы обиды не было потом?
Еще озимые не вышли из-под снега,
лежит колодец в черном серебре,
и злое сердце в поисках побега
колючей льдинкой плещется в ведре.
И грустный голос женщины влюбленной,
в котором явь и кареглазый свет,
своей прозрачностью и ночью опаленной
перебивает пение планет.

29 марта 1978

неизбежность неизбежна
в электрической ночи
утомившись пляской снежной
засыпают москвичи

кто-то плачет спозаранку
кто-то жалуясь сквозь сон
вавилонскую стремянку
переносит на балкон

хочешь водки самодельной
хочешь денег на такси

хочешь песни колыбельной
только воли не проси

воля смертному помеха
унизительная кладь
у нее одна утеха
исцелять и убивать

лучше петь расправив руки
и в рассветный долгий час
превращаться в крылья выюги
утешающие нас

1978

ах город мой город прогнали твои купола
коробятся площади потом пропахли вокзалы
довольно довольно навозного злого тепла
я тоже старею и чувствую времени мало

тряхну стариною вскочу в отходящий вагон
плацкартная сутолка третий прогон без билета
уткнулся в окошко попутчик нахмуренный он
без цели особенной тоже несется по свету

ну что ты бормочешь о связи времен и людей
имперская спесь не броня а соленая корка
мы столько кривились в мальчишеской линзе дождей
что смерть на миру постепенно вошла в поговорку

а рядом просторы и вспухшие реки темны
луга и погосты написаны щедрою кистью
и яблоки зреют и Господу мы не нужны
и дуб великан обмывает корявые листья

ах город мой город сложить не сойдется края
мне ярче огней твоих свет керосиновой лампы

в ту долгую осень которую праздновал я
читая Державина ржавокипящие ямбы

сойду на перрон и вдыхая отечества дым
услышу гармонь вдалеке и гудок паровоза
а в омуте плещется щука с пером голубым
и русские звезды роняют татарские слезы
1979

Любому веку нужен свой язык.
Здесь Белый бы поставил рифму "зык".
Старик любил мистические бури,
таинственное золото в лазури,
поэт и полубог, не то что мы,
изгнанник символического рая,
он различал с веранды, умирая,
ржавеющие крымские холмы.

Любому веку нужен свой пиит.
Гони мерзавца в дверь - вернется через
окошко. И провидческую ересь
в неистой печали забубнит,
на скрипочке оплачет времена
античные, чтоб публика не знала
его в лицо - и молча рухнет на
перроне Царскосельского вокзала.

Еще одна: курила и врала,
и шапочки вязала на продажу,
морская дочь, изменница, вдова,
всю пряжу извела, чернее сажи
была лицом. Любившая, как сто
сестер и жен, веревкою бесплатной
обвязывает горло - и никто
не гладит ей седеющие патлы.

Любому веку... Брось, при чем тут век!
Он не длиннее жизни, а короче.
Любому дню потребен нежный снег,
когда январь. Луна в начале ночи,
когда июнь. Антоновка в руке
когда сентябрь. И оттепель, и сырость
в начале марта, чтоб под утро снилась
строка на неизвестном языке.

В.Ерофееву

Расскажи мне об ангелах. Именно
о певучих и певчих, о них,
изучивших нехитрую химию
человеческих глаз голубых.

Не беда, что в землистой обиде мы
изнываем от смертных забот, -
слабосильный товарищ невидимый
наше горе на ноты кладет.

Проплывай паутинкой осеннею,
чудный голос неведомо чей –
эта вера от века посеяна
в бесталанной отчизне моей.

Нагрели мы, накурлесили,
хоть стреляйся, хоть локти грызи.
Что ж ты плачешь, оплот мракобесия,
лебединые крылья в грязи?

Европейцу в десятом колене
недоступна бездомная высь
городов, где о прошлом жалели
в ту минуту, когда родились,

и тем более горестным светом
вертоград просияет большой
азиату с его амулетом
и нечаянной смертной душой.

Мимо каменных птиц на карнизах
коршун серый кидается вниз,
где собачьего сердца огрызок
на перилах чугунных повис.

Там цемент, перевязанный шелком,
небеленого неба холсты,
и пора человеческим волком
перейти со Всевышним на ты.

И опять напрягается ухо –
плещет ветер, визжит колесо, –
и постыла простая наука
не заглядывать правде в лицо.

Левочке Рубинштейну

один
сам себе господин

два
с утра трещит голова

три
на себя посмотри

четыре
пусто и душно в квартире

пять
неча на зеркало пенять

шесть
по заслугам и честь

семь
воздуха нет совсем

восемь
поматросим и бросим

девять
ничего не поделать

десять
календарь над столом повесить

одиннадцать – поздняя мутная улица
ни с чем уже и ни с кем не рифмуется

двенадцать – пора домой, чего мы с тобою ждём
под колокольною бронзой родины, под престарелым её
дождем

ДВА ГОЛОСА

«Мы пируем на княжеских кашах,
бычьи кости глодаем, смеясь.
Наши мертвые благодней ваших.
Даже если и падаем в грязь –
восстаем и светлее, и чище,
чем лощеный какой-нибудь лях.
Пусть запущены наши кладбища,
но синеют на наших полях
васильки. В заведеньях питейных
рвут рубахи, зато анаши

мы не курим, и алый репейник –
отражение нашей души –
гуще, чем у шотландцев воинственных.
Наша ржавчина стоит иной
стали крупповской. В наших единственных
небесах аэростат надувной
проплывает высоко на страже
мира в благословенном краю,
и курлыкают стаи лебязжи,
отзываясь на песню мою».

«Отсверкала, пресветлая, минула.
Отпустила в пустыню козла
отпущения. Кинула, сгинула,
финку вынула, развела.
Некто, лёжа на печке, к стене лицом,
погружаясь в голодный покой,
повторяет: *скифы, метелица,
ночь, София, но и такой....*
Дева радужных врат, для чего же ты
оборачивалась во тьму?
Все расхищено, предано, прожито,
в жертву отдано Бог весть кому.
Только мы, погрузиться не в силах
в город горний, живой водоём,
знай пируем на тихих могилах
и военные песни поем.
Ива клонится, речь моя плавится,
в деревянном сгорает огне.
Не рыдай, золотая красавица,
не читай панихиду по мне...»

Я между телом и душой
не вижу разницы большой –
умрет одно, уйдет другая,

а кто же будет спать? Кто – петь?
Вороньим перышком скрипеть,
смотреть на месяц, не мигая?

Не мешкай, тьма, и не томи,
шепчу. Без магния сними
на память выцветшую землю,
где ёлки-палки, лес густой,
гуляет Ваня холостой
с евангелием под мышкой – тем ли,

где богоравный иудей
глаголом жег сердца людей,
или апокрифом вчерашним,
в котором воскресенье – храм,
а небо – крест, и по утрам
ползут по обнаженным пашням

акриды, с певчей простотой
стрекочущие? Эй, постой,
безумный Иоганн, куда ты,
и с кем ты затеваешь спор,
когда в одной руке топор,
в другой - смычок продолговатый?

Произносящий «аз» обязан сказать и «буки».
Был я юзер ЖЖ, завел аккаунт в фейсбуке.
еще и чайку не попил, не закурил сигарету –
а уже открываю комп, как в молодости газету,
и как из анекдота хохол при мысли о сале,
дергаюсь, восхищаюсь – что же там написали,

в Вашингтоне – с утра, а в Сибири уже – ближе к ночи,
многочисленные френды, близкие и не очень?
Отклоним просьбу о дружбе от юной бурятской гейши,

Почитаем новости: самозванный сейм казаков-старейшин присвоил нынешнему правителю чин почетного генерала. Белоленточник Н. – агент ФСБ/ЦРУ. У поэта Л. есть талант, но мало.

Во Флоренции жутко красиво. Писатель Булгаков – наше Евангелие. Бога нет. Есть рецепт обалденной гречневой каши,

фотографии сладких котят, ну просто очень смешные демотиваторы, рассуждения о горькой судьбе России, брошка есть – золотой совок с горсткой аквамарин, изумрудов, рубинов, брильянтов. Здорово. Отодвинув

лэптоп, закуриваю, наконец. Хорошо, что Господь мне лишние годы подарил, чтобы дожил я до этой дивной свободы, да и ты, мой интернет-современник, ликуешь, ее отведав. Сколь ты счастливей своих простодушных, непросвещенных дедов, что не слыхали о евроремонте, не говоря уж о ружье. С черным стоном звезды плывут над нами, вернее, мы под ними, но что нам

до этих дальних костров, блистающих островов в безвоздушном море?

Говорит молодой: бытие - счастье, а старик отвечает: горе. Рифма проста до безвкусицы, но не проще и не сложнее, чем дыхание. Зря я разглядывал эти звезды. Ни жить не смею, ни умирать не обучен, а ведь придется (ну и Бог с ним) вступать, как в ледяную воду, в неведомую иную.

когда продвинутый художник
душою тонок телом толст

палитру ставит на треножник
и расправляя чистый холст
от счастья гимны напевает
и моет кисти не спеша –
в моменты эти оживает
его изрядная душа

допустим в ней сомнений много
но если творчество зовет
эквивалентен осьминогу
во глубине лазурных вод
он так же царствует укромно
судьбы давлением зажат
горят зрачки его огромны
нейронов щупальцы дрожат

друг мой художники лихие
да и писатели туда ж
любую скорбную стихию
берут на кисть и карандаш
над юной барышней рыдают
что утонувшая в воде
смерть вдохновеньем побеждают
и наслаждаются везде

затеет ночь угрюмый танец
господь на плечи взвалит крест
гастрономический испанец
цефалопода жадно съест
талантлив на земле немногий
лишь ценят спорт и анекдот
но новый тварь головоногий
на смену бедному придет

дыханьем века пальцы грея
как настоящий коммунист

я верю что настанет время
когда художественный свист
сольется с плаванием спрута
барашка поцелует лев
и будет каждая минута
сиять и плакать нараспев

где ни ковбоев ни лассо
но бирюзовы неба своды
существовал анри руссо
печальный пасынок природы
он не сбивал соперник с ног
мечтая парковой скамейке
быв непосредственный сынок
жестянщика и белошвейки

как тигр ручной он сытно жил
мещанской радостью несложной
сержантом в армии служил
дружил с парижскою таможней
эх бриолином по усам
не ведая в законном мраке
над чем корпеют мопассан
гоген и прочие бальзаки

но жизнь сплетенье ног и рук
и ныне и во время оно
се, шестигранный пушкин вдруг
явился юному планктону
и гроыхнул ему восстань
умойся почеси власы и
живописуй про инь и янь
воспой страдания россии

с тех пор таможенник простой
забыв нехилые откаты

и тесных офисов отстой
художник стал продолговатый
им восхищается нью-йорк
и в петрограде обреченном
дарует он живой восторг
сердцам искусством облученным

когда ископаемый гамлет
в своем заграничном жабо
со сцены задумчиво мямлит
что жить ему дескать слабо
что он упорхнул бы подобно
синице из клетки когда б
не так опасался загробных
видений и дьявольских лап -

грустит потаенный анатом
в нирвану замыслив прыжок
а надо заметить, она там
устроилась ловко дружок
не пашет, не сеет, не вяжет
снопов как наземный народ
а ежели что и расскажет
сам черт ее не разберет

хоронят под камнем австрийца
индуса сжигают как дым
покойного зороастрийца
кидают гиенам ночным
кто кость у собаки отсудит
кто в небо запустит глонасс
когда-нибудь смерти не будет
но это уже не про нас

Неслышно гаснет день убогий, неслышно гаснет долгий год,
Когда художник босоногий большой дорогою бредет.
Он утомлен, он просит чуда - ну хочешь я тебе спою,
Спляшу, в ногах валяться буду – верни мне музыку мою.

Там каждый год считался за три, там доску не царапал мел,
там, словно в кукольном театре, оркестр восторженный гремел,
а ныне - ветер носит мусор по обнаженным городам,
где таракан шевелит усом, - верни, я все тебе отдам.

Еще в обидном безразличьи слепая снежная крупа
неслышно сыплется на птичьи и человечьи черепа,
еще рождественскою ночью спешит мудрец на звездный луч –
верни мне отнятое, отче, верни, пожалуйста, не мучь.

Неслышно гаснет день короткий, силен ямщицкою тоской.
Что бунтовать, художник кроткий? На что надеяться в
мирской
степи? Хозяин той музыки не возвращает – он и сам
бредет, глухой и безъязыкий по равнодушным небесам.

Уеду в Рим, и в Риме буду жить,
какую-нибудь арку сторожить
(там много арок – все-таки не Дрезден),
а в городе моем прозрачный хруст
снежка, дом прежний выстужен и пуст,
и говорит «хозяева в отъезде»

автоответчик, красным огоньком
подмигивая. Рим, всеобщий дом!

Там дева-мгла склоняется над книгой
исхода, молдаван, отец семье,
болтает с эфиопом на скамье,
поленту называя мамалыгой.

Живущий там – на кладбище живет.
Ест твердый сыр, речную воду пьет,
как старый тис, шумит в священной роще.
Уеду в Рим, и в Риме буду петь.
Там оскуденье времени терпеть
не легче, но естественней и проще.
Там воздух – мрамор, лунные лучи
густеют в католической ночи,
как бы с небес любовная записка...
А римлянин, не слушая меня,
фырчит: «Какая, Господи, херня!
Уж если жить, то разве в Сан-Франциско».

Она была собой нехороша:
сухое, миловидное лицо
коль присмотреться, отражало след
душевной хвори. Были и другие
симптомы: лень, неряшливость, враждебность
во время приступов. С ней было страшновато.
«Никто меня не любит, - утирая
слезу несвежим носовым платком,
твердила, - всё следят, хотят похитить,
поработить.» Но это, повторяюсь,
не всякий день. Бывали и недели
сплошного просветления. Она
была филолог, знала толк в Бодлере
и Кузмине, печаталась, умела
щекой прижаться так, что становилось
легко и безотрадно. С белой розой

я ожидал ее в дверях больницы,
при выписке. В асфальтовое небо
она смотрела оглушенным взглядом,
и волосы безумной отливали
то черным жемчугом, то сталью вороненой,
когда она причесывалась, то есть
нечасто. Вдруг – солидное наследство.
от неизвестной бабки в Петергофе,
из недобитых, видимо. Лечение
в Детройте. Визу, как ни странно, дали.

Стоял февраль, когда я вдруг столкнулся
с ней в ресторане «Пушкинь». Меценат,
что пригласил меня на ужин, усмехнувшись,
не возражал. Я запросто подсел
за столик, и воскликнул: «Здравствуй, ангел!»
Тамарин спутник, лет на семь моложе
моей знакомой, поглядел не слишком
приятенно, но все-таки налил
мне стопку водки. «Серый гусь, - сказала
она. – Сто сорок долларов бутылка,
но качество! Умеют же, когда
хотят!» Я пригляделся. Легкий грим.
Горбинка на носу исчезла. Стрижка
короткая проста, но явно не из
соседней парикмахерской. «Герпи! -
сказал ее товарищ, - упадут,
куда им деться. Точно, упадут!»
«Давай за это выпьем,» - засмеялась
она. Мы дружно выпили. Тамара
представила меня. Мы помолчали. «Ладно, -
сказал я бодро, - мне пора в свою
компанию.» «ОК. Все пишешь?» «Да,
а ты?». «Нет, что ты. Ну, прощай». «Прощай»

Бахыт Кенжеев родился в 1950 году в Чимкенте, с трёх лет жил в Москве. Отец был учителем английского языка, мать библиотекарем. Закончил химический факультет МГУ.

Дебютировал как поэт в коллективном сборнике «Ленинские горы: Стихи поэтов МГУ» (М., 1977). В юности публиковался в периодической печати, однако первая книга его стихов вышла в Америке, в 1984-м году.

В начале семидесятых Кенжеев становится одним из учредителей поэтической группы «Московское время» (вместе с Алексеем Цветковым, Александром Сопровским, Сергеем Гандлевским).

В 1982 году поэт эмигрирует в Канаду, в 2008-м переезжает в Нью Йорк.

Автор многих поэтических сборников, лауреат престижных литературных премий. Член Русского ПЕН-клуба. Публиковался в переводах на казахский, английский, французский, немецкий, испанский, голландский, итальянский, украинский, китайский и шведский языки.

АНДРЕЙ ОБОЛЕНСКИЙ

БОГИ СТАРУХИ ФОНКАЦ

Наш сокольнический дом*, в котором я жил с матерью, всегда очень занимал меня как будущего историка. В начале тридцатых он был специально построен для сотрудников НКВД по типу общежития, соответственно и спланирован; пять этажей, коридорная система и один вход, украшенный подобием портика с тремя колоннами. Во время войны дом пострадал от бомбёжек, его хотели сносить, однако передумали. На скорую руку сделали ремонт, но заселять почему-то не стали.

После прихода к власти Хрущёва дом капитально перестроили, в результате чего образовалось довольно много полноценных квартир со смежными комнатами, в одной из которых обязательно имелась отгороженная деревянной перегородкой маленькая кухня. Каждая квартира выходила в длинный коридор, посередине которого располагалась широкая лестница, жильцы то ли шутя, то ли всерьёз, называли её парадной.

А заселили дом людьми, выпущенными из лагерей, но только реабилитированными вчистую и не поражёнными в правах. Реабilitированных с оговорками или освобождённых с неснятой судимостью, селили под Москвой. Дом по-прежнему относился к ведомству безопасности, поэтому прописку в квартиры посторонних, даже детей и племянников, запретили настрого. Понятно, что о возможности обмена такой квартиры и речи не шло. Если жилплощадь освобождалась, туда заселяли ветеранов или просто участников войны (вплоть до начала Перестройки существовало строгое разделение). Большая их часть ютилась в комнатах общих квартир, где число проживающих семей иногда доходило до пятнадцати.

Так что молодых людей, вроде меня, студента, в доме было раз-два и обчёлся. Я учился в МГУ на втором курсе

исторического факультета и водил близкое знакомство только с Лёшкой Барановым, тоже живущим в нашем доме, – Лёшка был аспирантом на моём же факультете. Времени катастрофически не хватало, честно говоря, оно, как дым в трубу, улетало в учёбу, у меня даже девушки не имелось. Тем более что сжигала меня одна, но пламенная страсть. Я увлекался историей СССР с семнадцатого года до двадцатого съезда, изучение этого периода в университете предстояло не скоро, пока что мы занимались скучной античностью. И я азартно, сказал бы, с болезненным интересом собирал крохи информации, которые можно было найти.

Оттепель давно канула в Лету, а мутная эпоха серого кардинала товарища Суслова была в самом разгаре. Ни о каких архивах никто не помышлял, а книги, изданные в начале шестидесятых, вроде ”Повести о пережитом” Дьякова и многие журнальные публикации тех лет изъяли из свободного доступа библиотек, когда я учился классе в пятом. Но мне удалось застать живыми множество свидетелей, они обитали рядом со мной, стояли в одних со мной очередях, как и я, смотрели программу ”Время”, в девять вечера шедшую по всем четырём имеющимся каналам.

Вот из этих людей я крохами выуживал то, о чём и сейчас молчат или говорят расплывчато, мол эпоха такая, будто эпоху создают не конкретные люди. Уже тогда во мне зародилась уверенность, что в советском периоде российской истории что-то не так. Я искал и находил совершенно мистические парадоксы и апории. К примеру, меня долгое время занимал вопрос, – а почему, собственно, мы выиграли войну, хотя по всем сложившимся к тому историческому моменту условиям, были обречены её проиграть. Почему вообще эта война, никому, в сущности, ненужная, как я считал, всё-таки началась, ведь дело явно шло к мирному переделу Европы между Советским Союзом и Германией. Но информации

жестоко не хватало, и я пытался искать её вокруг себя, пить из родников, фигурально выражаясь.

Какие люди жили в нашем доме! Их фамилии много говорили человеку посвящённому, а иногда и простому любителю истории страны. Перечислять не стану, слишком много их прошло передо мной.

Раза два в неделю я вставал на час раньше обычного, наскоро завтракал, брал кейс с учебниками, усаживался на скамейку неподалёку от подъезда и наблюдал. Именно в это время многие из них выходили на утреннюю прогулку. Дамы в светлых пальто или плащах, высохшие высокие старики с подвижным, цепким взглядом, обязательно при тёмном галстуке и в классической шляпе с небольшими полями. Они шли, выпрямив спины, изредка переговаривались между собой, смотрели только вперёд, иногда поднимали головы и глядели в небо.

"Что помнится им?", – думал я. – "Чёрные ночи этапов, воняющие плесенью и немытым телом вагоны, набитые людьми, заходящиеся в лае собаки, с оскаленных морд которых капает слюна, презрение юных бритых конвоиров, награждавших их пинками и матюгами. Или улыбающийся с портретов лукавый вождь, гипнотически превративший умнейших в глупые манекены?" Я долго искал способы хоть сколько-нибудь близко сойтись с ними, но это была каста, отторгающая чужих. Но мне помогли... шахматы. Я играл сильно, имел даже разряд. На этом мне и удалось поймать некоторых. Именно они, задумчиво глядя на доску и размышляя, как бы не получить мат, хоть что-то, да рассказывали мне, когда я путём разнообразных ухищрений наводил их на интересующие меня вопросы. В моих жадных до знаний и цепких мозгах постепенно складывалась картина эпохи, пусть неполная, но вложенная туда участниками и просто очевидцами. Картина эта порой представлялась мне совершенно невероятной, настолько странным казалось мне поведение многих очень умных людей. Я постоянно думал об этом,

хотя мне доверяли короткие и далеко не самые важные эпизоды пережитого. Они полагали, что их святая обязанность перед родиной унести историю своей жизни в могилу. А ещё надо остерегаться, чтобы не попасть туда раньше назначенного. Этот страх был не в крови, не в голове, он сидел ещё глубже, в костном мозге, наверное. Но я увлёкся. Рассказ совсем о другом. И героиня его – всего лишь наша консьержка, Люция Генриховна Фонкац. Удивительно, но это так.

Люция Генриховна возникла вроде бы ниоткуда. Во всяком случае, никто не мог вспомнить, почему именно она появилась в доме. Просто в один прекрасный день все единогласно решили, что интеллигентным людям, населяющим дом, надзиратель за подъездом необходим. Правда, хорошо знакомое слово "надзиратель" по всеобщему согласию заменили на французское "консьержка". Упорным хождением по инстанциям и коллективными письмами полноценные граждане страны выбили ей двухкомнатную квартиру на первом этаже. Это, хоть и не сразу, но удалось, ко многим бывшим зекам относились благодушно и даже с сочувствием. А квартиру освободил, переселившись в миры иные, дедушка, работавший в середине тридцатых Чрезвычайным и Полномочным Послом в Китае, воевавший в штрафбате, а после Победы через малое время севший уже по делу времён военных.

Я хорошо помню Люцию Генриховну – худую высокую старуху, очень подвижную, несмотря на возраст, с крупными руками и улыбчивыми, мягкими глазами. Её любезность к жильцам не знала границ, она не уставала повторять, что безмерно благодарна чудесным людям, пригrevшим её при таком чудесном доме. Дверь в первую комнату её квартиры, получившей название консьержной, была всегда открыта, и в ней всегда горел свет. Люца, как за глаза называли её жильцы, казалось, не спала вообще. Я

возвращался иногда очень поздно, когда парадное уже запиралось. Но стоило мне только позвонить, через минуту наша восьмидесятилетняя Люца, свежая и подтянутая, улыбалась мне, укоризненно качала головой, говоря что-то о девушках и поздних свиданиях. Я смущённо улыбался, прося извинить, что побеспокоил. "Учёба, знаете ли", – почему-то оправдывался я. – "Студентам нынче нелегко". Люца понимающе кивала и пропускала меня домой.

Имелся, правда, у Люцы пунктик. Очень уж она начинала нервничать, коснись мало-мальски разговор еврейской темы. Начинала многословно доказывать всем, что она не еврейка, о чём ясно говорит приставка ~~фон~~", позже слившаяся с усеченной фамилией, отчество, да и сама фамилия, возникшая в средние века среди рыцарей Тевтонского Ордена. Этим Орденом она надоела всем до невозможности, пока Наум Моисеевич Каган, когда-то заместитель наркома, при всех зло не отчитал Люцу в том смысле, что баланда была для всех одна и национальных признаков не имела. Люца прикусила язык и, если разговор заходил о евреях, отмалчивалась или потихоньку исчезала. Бывали ещё по средам закрытые чаепития с медовыми рогаликами, которые Люца готовила замечательно. На эти довольно длительные собрания приглашались далеко не все, лишь избранные, я совершенно не имел представления, кто там бывает, и какие разговоры ведутся. Дверь в консьержную закрывалась до глубокой ночи, что вызывало даже жалобы некоторых жильцов. Но Люца плевать хотела, тем более что жалобщики отчего-то быстро замолкали.

Однажды я спросил Леонида Петровича Каменского, больше всех мне рассказавшего о предвоенных армейских нравах и послевоенном лагерном быте, что же такое происходит в консьержной по средам за закрытыми дверями. Леонид Петрович слегка изменился в лице, но тут же равнодушно пожал плечами.

– Не знаю, Борис. Я не бываю там. – Для того чтобы

слова его звучали убедительнее, он с некоторым раздражением добавил: – Неужели вы не понимаете, Борис, что человеку, имевшему моё звание, распивать чай с консьержкой неудобно.

Каменский сел сразу после Победы в звании генерал-майора, тогда сажали многих победителей, чтобы народ и в голове не держал мыслей о послаблениях.

При встрече на кафедре я спросил о том же у приятеля Баранова, он только присвистнул.

– Ты что себе думаешь, Лапин, – ответил он мне, – тебя истории, что ли учат? Учат, тебя, дорогой, всего лишь марксистскому анализу предвзято изложенных исторических событий. Иного тебе не надо для будущей работы по распределению. А у Люцы говорят как раз о том, что хорошо бы знать будущим историкам. Во избежание.

Ответ Баранова совершенно не устроил меня, и я при первой возможности снова пристал к Лёшке. Зная меня, Баранов сразу понял, что я не отвяжусь.

– Ладно, – вздохнул он. – Проясню кое-что для тебя. Только никому ни слова, а то разлетится... Кому надо быстро выяснят, откуда что взялось. Я-то отпрусь, а тебя, второкурсника, отовсюду погонят, хуже того, в дурдом запихнут. Пятого марта, через две недели, нет, это будет через три, заходи ко мне вечером, попозже, часов в одиннадцать.

– И что же такое особенное случится в этот день?

– Будешь задавать вопросы, – с неожиданной злостью ответил Баранов, видимо учуяв насмешку, – ничего не узнаешь. И не увидишь. А увидеть имеешь шанс такое...

Я понял, что надо заткнуться, так и сделал без промедления. Лёшкин характер я тоже хорошо знал. Но слова его зародили во мне странные сомнения. Я подумал, что прошлое Люцы – тайна для всех, что дверь из консьержной в её спальню не только всегда закрыта, но и занавешена плотной шторой с игривыми цветочками,

наконец припомнил, что никто не знает, почему именно она прижилась при нашем доме. К тому же мои сомнения усилились задолго до назначенного Лёшкой срока.

На следующий день я слегка подшофе возвращался домой с вечеринки у приятеля. Я знал, что дверь подъезда давно заперта и звонить сразу не стал, решил посидеть на бодрящем ночном морозце, чтобы внятно поздороваться с Люцей. Почему я, взрослый человек, страшился слов, которые могла сказать мне консьержка? Не было у меня ответа на этот вопрос, ответ появился много позже. Так вот, я присел на скамейку и минут через пять увидел пьяного в дым мужика, который, горланя песню про зайцев, подошёл к двери и вдавил палец в кнопку звонка. Долго не отпускал, потом стал дубасить кулаками в дверь. Она неожиданно распахнулась, и я увидел Люцу в накинутой на плечи шубе

–Он убьёт её”, – со страхом подумал я и дёрнулся уже, чтобы заступиться за бедную старушку. Не тут-то было. Люца сделала шаг из подъезда, и в ночной тишине двора разнёсся такой замысловатый, я бы сказал, закрученный в тугую спираль мат, что я только диву дался. Спираль резко распрямилась и ударила мужичка уж не знаю в какое место. Он настолько удивился, что прервал песню на полуслове, сделал два шага назад и, поскользнувшись, сел в сугроб. При свете фонаря я чётко видел его вмиг протрезвевшее, ошарашенное лицо. Он остался сидеть в сугробе, удивлённо качал головой и разводил руками, разговаривая сам с собой, а Люца удовлетворенно кивнула и скрылась в подъезде.

Ровно через пять минут подъехала милиция, изумленного событиями мужичка кинули в «воронок» и повезли куда следует. А я, тоже моментально протрезвевший, не почувствовал в себе сил звонить в собственный подъезд и вернулся к приятелю ночевать. По дороге думал, а где, собственно, милейшая интеллигентная старушка так мастерски научилась складывать обсценную лексику. Нет,

материться может каждый, но вот таким образом, чтобы ошарашить человека, сбить его с катушек, даже пьяного, когда слова хуже удара в челюсть – вряд ли. Фактор внезапности, – да, он играет роль, но так строить фразы, состоящие из одних матерных слов, умеют только уголовники, моряки и военные, насколько мне было известно из книг и небольшого жизненного опыта. Потом я часто размышлял об этом забавном эпизоде.

А день, назначенный Лёшкой, близился. В университете я встретил его только однажды. Пробегая мимо, он спросил: ”Что, Лапин, не передумал?” Я ответил, что нет. Баранов притормозил и пристально посмотрел на меня.

– Ты будущий историк, Лапин, – раздумчиво сказал он. – Ты не боишься разочарований? Они ранами опасны, это ещё Евтушенко заметил.

Я разозлился.

– Слушай, Баранов, всем известно, что ты талантливый аспирант и у тебя, говорят, большое будущее. Но это не даёт тебе права относиться ко мне как к малолетке. Не знаю, что ты там задумал, но так вести себя... неприлично.

Баранов рассмеялся, но тут же оборвал смех.

– Извини, Борь. Я просто боюсь за тебя. Боюсь, что ты бросишь университет и загремишь в армию, после того, что увидишь.

– С чего-то?

– С того-то. Но ты взрослый человек, а я не набивался. Жди назначенного дня.

Баранов поправил подмышкой портфель и побежал дальше, а я остался гадать, что же такое он придумал.

Пятого марта, строго следуя указаниям Баранова, я позвонил в его квартиру, находящуюся в самом конце коридора справа от окна во двор. На часах было четверть двенадцатого. Лешка открыл сразу.

– Не передумал, – задумчиво произнёс он и как-то критически оглядел мою фигуру. – Только учти, помощи от меня и объяснений не будет, каждый за себя. И если в

обморок грохнешься, и если учебу надумаешь бросить, проболтаешься кому, сам, всё сам. Я этот цирк много раз видел, привык уже, а поначалу тоже всякие мысли нехорошие появлялись. Только я сумел понять, что пока могу только наблюдать и запоминать. И ты должен. Мир меняется быстро, сам видишь, историк, поэтому у нас нет другого выхода, как прогибаться под его перемены, иначе отторгнет. Только много позже я вспомнил, что Баранов с точностью, что называется, до наоборот, произнёс слова, которые через много лет споёт один не очень умелый поэт, бывший всеобщим кумиром, но умевший лукавить так, что этого никто не замечал. «Ну, пошли», – сказал Баранов, дергая меня за рукав.

– А куда? – глупо спросил я. – Я не чувствовал страха, только любопытство, знал, что обещанное Лешкой так или иначе связано с моим интересом к недавней истории страны. Вот только каким боком, понять не мог. Не мог понять и того, причём тут Люца.

– Для начала ужинать, – ответил Баранов. – Поесть надо, у меня котлеты есть по одиннадцать копеек, вчера в ”Кулинарии” на Кутузовском взял, специально ездил. А там и время подойдёт. Я тебя предупреждал, чтобы никому ни слова?

– Да. Два раза.

– Предупреждаю в третий раз. Для тебя же стараюсь, а то к психиатрам попадешь. Или к психологам? В дурдом, короче.

В квартире Баранова царил полный кавардак. Я знал, что его дед из когорты старых большевиков, так усердно вырубленной Сталиным, один из немногих дожил в здравом уме до глубочайшей старости и умер год назад.

– Видишь, что дома творится. Никак до дедушкиных бумаг не доберусь. Понимаю, что надо разобрать, а духу не хватает. Там его стихов много. Он рассказывал, что Клюев хвалил, они дружили, пока того не арестовали. Я ж из крестьян. Лапоть.

Лёшка болтал без умолку о всяких разностях, я видел, что он волнуется.

– Слушай, Лёш, – перебил я, – а сегодня день смерти Сталина. Это совпадение? И причём тут старуха Фонкац?

Лёшка споткнулся на полуслове, и даже в тусклом свете люстры я увидел, как исказилось его лицо.

– Вопросов глупых не задавай, – почти прошипел он. – Сам всё увидишь, я же предупредил, что каждый за себя. Ответы долго искать будешь. Я вот уже ищу, и может, до смерти искать буду. Так что заткнись.

Он посмотрел на часы.

– Пора. Ну ты и жрать здоров, все мои котлеты слупасил. Пойдем.

Лёшка без труда отодвинул от стены высокий шкаф, стоявший в углу у входа, за которым обнаружилась заклеенная другими обоями дверь.

– Я её обнаружил, когда ремонт делал. Дед в больнице лежал. Один мой приятель ключ подобрал, большой умелец на эти дела. Но и он ничего не узнал. Не пустил я его, деньгами откупился, уж больно любопытный был.

Ручка отсутствовала, Лёшка, ногтями потянул дверь на себя, она тяжело открылась. Дальше была темнота.

– Вот смотри, – он осветил аккумуляторным фонарем, – стена в три кирпича слева и в три справа. А между ними узкий проход, такой, что продвигаться по нему можно только боком. За левой стеной – квартиры, – видишь, белой краской отмечены, за правой – коридор, ведущий к входной двери и к лестнице. Где пятно краски, там глазок, так что мы сейчас пойдем посмотреть, что в этот поздний час делает старуха Фонкац. Моя квартира последняя по коридору, от неё и начинается этот проход. Я только за Люцей подсматривал, больше ни за кем, а она узнала откуда-то и меня на ковер вызвала.

– Я читал, что в Доме на набережной ниши для прослушки есть. Неужели и тут...

– Ага. И не только для прослушки, для наблюдения.

– Но ведь это дом НКВД.

– То-то и оно, что НКВД. Рыбка-то знаешь, откуда гниёт. Вот и опасались.

– А когда при Хрущёве капитальный ремонт был, как могли не заметить?

– Конечно заметили, ещё и глазки новые поставили, с широким углом обзора, в тридцатые таких не было, я проверял. А в комнате замаскировали в электросчётчиках, туда всё равно никто не лазает. Опломбировано.

– Зачем? Зачем оставили-то?

– На всякий случай, думаю. Хрущ полагал, что навсегда пришёл, а крови на нем не меньше, чем на других. Возможно, настроениями интересоваться, а может другие планы были. Но – к делу, будущий историк. Я про старуху Фонкац подробно тебе расскажу потом, сейчас я хочу одного, – чтобы ты сам убедился, что она не в своём уме. Мне это нужно. Для будущего. Я выбрал тебя, кто знает, что может случиться со мной. Наследство нашей консьержки не должно пропасть.

Мы двинулись по коридору, передвигаясь боком, Лёшка впереди. Дошли до конца коридора, и я понял, что за стеной квартира Люцы. Лёшка остановился.

– Здесь, – прошептал он. Видишь, пятно краски, а вот глазок. Говори тише, тут стена истончена, и всё прекрасно слышно с обеих сторон. Смотри, – он отодвинулся.

Я, стараясь не дышать, посмотрел в глазок. Он, и правда, давал широкий, хоть и несколько искаженный, обзор всей комнаты. Я сразу разглядел металлическую кровать со множеством подушек, уложенных друг на друга, как это делают в деревне, большой трельяж, ломающий высокими зеркалами пространство комнаты, у двери – тумбочка с новеньким кассетным магнитофоном. Круглый стол посередине. Ну, ещё вазочка на столе хрустальная, а вот в углу... Я даже не поверил своим глазам. Это было что-то вроде иконостаса, иконы громоздились одна на другую, тёмные, старинные, они освещались множеством

расположенных вокруг лампад. Я подумал, что Люца не может быть верующей, она член партии и всегда смеялась над старухами, тянущимися на колокольный звон в церковь поблизости. Тем не менее, когда я внимательно пригляделся, тёмные лики показались мне знакомыми. Я вздрогнул от неожиданности и, не буду скрывать, страха. На самой большой доске был изображен отец народов в терновом венце и яркими каплями крови, стекающими по виску, краю массивного носа и щеке, в ликах поменьше я узнал Троцкого, Свердлова, Бермана, Фриновского. Но большинство изображённых были незнакомы мне.

Холод, ползущий по позвоночнику, стал почти невыносимым.

– Что это? – шёпотом спросил я у Лёшки.

– Что видишь, – также шёпотом ответил он. – Боги старухи Фонкац. Почти полночь. Сейчас...

Он замолк, поскольку дверь открылась и в комнату вошла Люца. На ней была парадная форма подполковника внутренних войск НКВД. Левая половина груди была увешана медалями, я разглядел ещё орден Ленина и звезду Героя Советского Союза. Плотнo закрыв за собой дверь, она не глядя нажала кнопку кассетника на тумбочке. Зазвучал сталинский гимн. Люца вытянулась, постояла несколько секунд и, чеканя шаг, подошла к изображениям своих богов. Снова вытянулась по стойке смирно, правая рука взметнулась к виску. Когда гимн отзвучал, Люца сняла берет, аккуратно положила его на стол и медленно опустилась на колени перед своими богами, шепча что-то, чего я не мог слышать. Так она стояла минут пять, потом поднялась, аккуратно, одну за одной, задула все лампы, и я перестал что либо видеть. Через минуту свет проник из соседней комнаты, – Люца открыла дверь, её фигура на секунду осветилась, и она вышла из комнаты, оставив за собой только темноту.

Я выдохнул. Лёшка хихикнул мне в ухо. – Ну что, понравилось? Такая вот у нас консьержка, ага. Но

договорённость наша в силе, полное молчание о том, что видел и никаких расспросов. Я сам расскажу тебе всё, когда сочту нужным. А может, не расскажу никогда”.

Мы выбрались из коридора, он закрыл дверцу и пододвинул к стене шкаф.

– Шагай домой. И ничего не было, понял?

Несколько дней я переваривал увиденное, пытаюсь понять хоть что-нибудь, но ничего, кроме того, что Люца имела высокий чин в НКВД, прошла невредимой все чистки и процессы, полностью спятив к старости, не приходило мне в голову. Зато хотя бы случай с пьяным, ломившемся в дверь, нашёл объяснение. Но я совершенно не понимал, зачем Лёшка показал мне Люцины секреты, да ещё так загадочно объяснил их, ничего, в сущности, и не объяснив. Но скоро всё встало на свои места.

Я возвращался из Университета около десяти. Люца ещё не закрыла дверь в консьержную и, сидя за столом, вязала. Увидев меня, она бросила вязание на пол и со странной резвостью выскочила из-за стола.

– Ты сегодня рано, Борис, – быстро проговорила она, выходя в подъезд. – У тебя найдётся время поговорить? Я напою тебя чаем. Накормить могу, ужин на плите.

Понятно, что после всего, виденного мной, я пошёл бы разговаривать с Люцей, даже если бы меня разбудили в три часа ночи.

– Проходи, садись, – суетилась Люца, ставя на стол чашки и розетки с вареньем. – погоди, подъезд закрою, пора уже. Но она закрыла не только подъезд, но и замкнула на два оборота ключа дверь в консьержную, да ещё плотно задвинула шторы на окне.

– Я хочу поговорить с тобой, Боря, – начала она, наливая чай. – Ты всегда нравился мне, ты очень правильный мальчик.

Она замолчала.

– Спасибо, Люция Генриховна, – ответил я, – но...

Она вздохнула.

– Ладно, я не буду тянуть кота за хвост. Борис, у меня рак, оперировать который нельзя, а лечить бессмысленно. Завтра рано утром я уезжаю в Иркутск к сестре, там и умру, потому что не хочу продлевать существование. Мне восемьдесят два года, и я не привыкла существовать, не умею, я умею жить, а это теперь невозможно. Не спрашивай откуда, но я знаю, что вчера ночью ты видел меня, видел, что я делала в комнате

– Люция Генриховна...

– Не перебивай, – в её голосе звякнул металл. – Ты знаешь половину моей тайны, её знает и Алексей. Я хотела доверить ему и вторую половину, но не стану. У него блудливые глаза, он хитёр, а когда я умру, он будет делать себе имя на моей тайне, он покалечит её, искорёжит то, что непременно возродится из пепла, в котором сейчас прозябают люди, советские люди. Я могу довериться тебе? Когда наступит счастливое будущее всего мира, это случится при твоей жизни, я уверена, ты расскажешь стране и миру обо всём.

– Люция Генриховна, что вы имеете в виду? – несколько раздражённо спросил я, и она уловила мое раздражение.

– Не торопись, скажи только, ты согласен?

– Я буду историком, как я могу не согласиться?

– Я родилась в девятьсот третьем, Борис, гимназисткой ушла в революцию, служила в ЧК, НКВД, МГБ. Моему Богу, что я говорю, нашему общему Богу, а ты теперь знаешь, кто он, было угодно, чтобы я прошла невредимой через все наши победы, – её глаза загорелись фанатичным огнем. – Пять лет до войны и три года после неё я имела счастье быть с ним рядом каждый вечер. Он берёт свою человеческую оболочку, своё временное пристанище, поэтому каждый вечер меня привозили к нему. Дабы определить, не болен ли он, я наносила ему на левое предплечье чернилами из старинного флакона три полоски, – тонкую, среднюю и толстую. В большой оплетённой бутылки он хранил воду, которой обмывал

руку. Две полосы обязательно исчезали. Если оставалась толстая или средняя, тело его было здорово, если тонкая, это говорило о нездоровье, тогда он обращался к врачам.** Потом мы пили чай или вино, и он рассказывал мне о том, какое счастливое будущее ожидает мир, о том, что мы движемся к свету, где все будут добры друг к другу, исчезнет ненависть, хитрость, ложь, деньги. То, что я рассказала тебе, Борис, неизвестно ни одному человеку на земле, кроме меня, тебя и его.

За пять лет до ухода он перестал вызывать меня, но я была на Ближней даче в тот вечер, когда он ушёл. Я заглянула в комнату, он лежал на диване, ещё дышал, и я, клянусь, видела терновый венец на нём. Никакого креста не было, потому что религия – ложь, а терновый венец был. Я записывала за ним, но многое не понимала, это дело будущих поколений. Дружила со многими великими людьми, его сподвижниками. Наш Бог отнимал у этих людей жизнь, когда они исполняли своё земное предназначение, но и они когда-нибудь вернутся с ним, потому как преданы ему. Их имена проклинали, но простые смертные не ведают, что творят. Бог вернётся, чтобы спасти людей, вязнущих в пороке, везде, на всей земле, – её голос зазвенел, а глаза смотрели мимо меня, в вечность, уж не знаю, в прошлое или будущее. – Я не дождусь пришествия его, а тебе суждено быть свидетелем. Тогда ты раскроешь всем мою тайну. Я дам тебе альбом фотографий, эти фото никто никогда не видел, они существуют в одном экземпляре, пластины и негативы уничтожала я сама. И ещё рукопись моих воспоминаний и записи бесед с Ним, они станут настоящей Библией, потом Бог вернётся и Коммунизм воссияет на всей земле.

Я смотрел на неё и знакомый уже холод полз по позвоночнику вниз от шеи. Она говорила чеканно, выверено. Я очень старался внушить себе, что имею дело с выжившей из ума фанатичкой, но у меня ничего не получалось. Мало того, её слова захватывали меня, несли

куда- то, голова моя кружилась, и виделся уже мне сияющий Город Солнца Кампанеллы и слово ”коммунизм” вдруг перестало казаться глупым и не имеющим к серой реальности никакого отношения, а наши насмешки и политические анекдоты, напротив, показались полной глупостью, преступной даже.

Я сделал над собой усилие, тряхнул головой и сразу ощутил себя в тёплой консьержной за чашкой чая с милой и очень разумной старушкой.

– Я могу прочитать ваши воспоминания? – осторожно спросил я.

– Нет, – отрезала она. – Ты не готов. Там спрятаны тайны, которых нет ни в одном архиве.

– Неужели? – я схитрил, придав своему голосу максимальную язвительность.

– Ты еще молод, Борис, – заговорила она, вдруг улыбнувшись. – Я хорошо знаю о твоём особом интересе к временам величия страны, но ты не понимаешь, что Бог всё делал только для её блага. Пока он не вернулся и пока над народом этот мужик Брежнев, никто не должен знать многие вещи. Заговоры, процессы, интриги, – всё это мелочи. А вот то, что Бог вынудил Гитлера напасть на нас и ценой миллионов жертв подарить половине мира свет истинных знаний, известно только мне. Тайну блокады Ленинграда, тайну вечной жизни Троцкого, женских штрафбатов, великую жертвенность генерала Власова, – это и многое другое неизвестно никому в мире, кроме меня. Когда придёт время, ты опубликуешь настоящую Библию, и все узнают, что в ней нет Иуды, потому что Бога никто не предавал, он сам покинул нас, когда счел нужным, обрёл на испытания безвременьем. Ты станешь одним из творцов настоящей веры, апостолом, а какое место предстоит занять в ней мне, – не могу знать.

Она замолчала. Так же молча дала мне две небольшие, хорошо упакованные коробки.

– Всё тут, держи. Я знаю, ты сам пока вне веры, но она

придёт. Не поминай меня лихом.

Я вышел от Люцы совершенно потрясённый услышанным. Анализируя, я вполне допускал, что пережившая всех начальников, и больших, и маленьких, Люция вполне может быть хранилищем тайн, свидетельств, которых не существует по разным причинам. С многократно большей степенью вероятности я мог предположить, что Люца просто сумасшедшая старуха, почти уверился в этом, но что-то не складывалось. Станным казалось то, что никакой тяжести после разговора с ней не осталось. Её слова в какой-то момент даже подействовали на меня гипнотически, что греха таить, был момент, когда я поверил ей. Мне было жаль, что она умрёт, ведь каким богам поклоняться – личное дело каждого. Вот у меня их вообще нет. Но я был порядочным человеком, во всяком случае думал о себе так, поэтому поклялся себе не открывать коробки.

Конечно, Люца досрочно свела в могилу не один десяток человек но... У неё были идеалы и подписывая смертный приговор невиновному вообще ни в чём, она была уверена в своей правоте. У неё был бог, пусть чудовищный, ущербный, страшный, но потому была и вера. Извиняет ли это её хоть сколько-нибудь? Нет, нисколько, но есть тут одна закавыка. Сейчас, в следующем веке уже, тоже происходят страшные вещи, но никому до этого нет дела. Крестись в Храме и всё простится, а не простится – и ладно, какая жизнь лучше, – сладкая или вечная, кто знает, тем более, есть ли она, вечная, вопрос совершенно открытый, а сладкая – вот она, для тебя одного, надо только... Что многие и делают.

Но я отклонился от своего рассказа, то, что происходит теперь, не имеет ни малейшего отношения к истории с Люцей, хотя нынешнее произрастает из прошлого, часто являя собой карикатуру. Я решил для себя, что жизнь сама даст мне знак, когда я смогу достать из надежного места оставленные на моё попечение коробки, и ознакомиться с

их содержимым. А не будет знака, (теперь точно знаю, что не будет), – уничтожу их. Перед смертью.

Лёшка в Университете не замечал меня, а я не здоровался. Но однажды мы столкнулись нос к носу в парадном у запертой консьержной. Кто-то из нас должен был заговорить.

– Ну что? – довольно развязно произнёс Лёшка, обломилось с тайной-то. Небось, до сих пор мучаешься? Интересно, куда иконостас подевался? Знаешь, кто его нарисовал? Каменский, наш бывший генерал-майор. Вишь, Андрей Рублёв. Он мне проговорился, когда исчезновение Люцы обсуждали. Я многим рассказал, чего теперь, дело прошлое.

– Лёш, а Лёш, – позвал я его, как будто он шёл впереди меня по дороге или в лесу.

– Что? – он запнулся на полуслове.

– Сволочь ты, Леша, последняя, вот что, – внятно, чтобы он ничего не перепутал, произнёс я и, не дожидаясь ответа, взбежал по лестнице.

**Этот дом – не вымысел. Он действительно существовал неподалеку от парка, хотя позднее был снесён.*

*** Свидетельство одного из врачей, пользовавших вождя, возможно, легенда.*

Андрей Оболенский – коренной москвич. Врач-педиатр, имеет большую и давнюю частную практику в Москве. Намеревается в перспективе оставить медицину и посвятить себя литературной деятельности. В одном из московских издательств в текущем году готовится книга его прозы.

Публиковался в различных литературных журналах и в интернет-изданиях. Его рассказы вошли в шорт-лист последнего Волошинского конкурса.

ЕЛЕНА ЕСИЛIEВСКАЯ

СТИХИ 2012-2014 г.г.

Из переписки с друзьями... (посвящения)

Вариации на тему Оксаны Светлаковой «Так создается мир потоком жизни»

Начни сначала -
 С белого холста,
Обметанного наспех грубой ниткой.
С тетрадки нотной, с птичьего хвоста
диеза , над скрипичною улиткой
мелькнувшего...
 Постой, повремени,
Продли мгновенье зарождения звука
в гортани журавлиной!..
 Нотой ми
Звук тает в небе...
 Ты синицу в руки
возьми,
 пой горячим молоком
И досыта корми отборным просом,
И будет легким, трепетным комком
Меж пальцев биться время...
 Мы не спросим,
Который час...
 И мотылька с волос
Касаньем осторожным снимет ветер...
Мы слышим свет, вдыхаем голос ос
На предосенней пасеке...
 Мы в сети
Улавливаем души странных снов,
И слизываем с губ соленых брызги
Сокрытых слез и неизлитых слов...
...«Так создается мир потоком жизни».

Нине Новоселовой

Ночь, бессонная птица,
Прочь, не морочь, не каркай -
Все, что могло случиться,
Уже случилось. Гадалкой
Была ты плохой, и вовсе
Не прозорливой - видишь:
Тонет комочком воска
В блюде с водой мой Китеж?

Башен моих шпили,
Пашни моих вотчин...
(Змейка сухой пыли
В склянке часов песочных
Свернулась клубком)

И дела

Мне нет, что в кофейной гуще
Чащи ты разглядела,
Рощи, а в них кущи!

Каяться, клясть, клясться -
Полно тебе, поздно:
Дырки одни да кляксы
В черновике звездном!

И лоскутом ситца,
Яркой крапленой картой,
Заплата луны ложится
На благородный бархат...

...Но в мельтешне точек,
в рукописи бестолковой -
узнаю забытый почерк,
и буквы сложатся в слово,

И чей-то голос негромко,
Но внятно меня окликнет,
И, заплутав в потемках,
Душа чужая калитку

Откроет -
 В плаще дорожном -
Снимет обувь в прихожей,
Спросит сладкого чаю,

Задует огарок свечки,
И, карты смахнув неловко
Со скатерти,
 мои плечи
Крылом укутает легким-
Молча... (Ни «аллилуйя»,
Ни финального титра!..)
На глазок разолью я
По чашкам остатки спирта,

И положу на блюдо
Горсть мороженых ягод...
А говорить не будем-
слов никаких не надо...

...Ветер, слугой дотошным,
С редким усердьем, рьяно,
Чистит от звездной крошки
Серый пиджак тумана,

И, встав с постели до срока,
Заря, невзрачной царевной,
Румянит бледные щеки
Краскою акварельной...

...И, странно знакомый, кто-то
В коротком камзоле синем,
По памяти, не по нотам,
Сыграет на клавишине

Романс - бесхитростный, милый -
Без слов,
но слова, как будто,
помнится, были, были!..
...Так наступает утро

Владимиру Соколову

Замедленный выдох-вдох
и - взмах (не крыла - кисти
малярной!)...
Но видит Бог:
Все наши помыслы чистыми были
(и есть!) -
как воздух,
как легкий дымок сизый!..

А в руках наших белых-розы,
А за пазухой - в Рай визы!..
И смотрим в глаза смело:
По векселям- квиты!
(Хоть овцы не все целы,
Но волки-вполне сыты!..)

И никакой корысти,
И меньше того - обману
В трехгрошовом монисто,
в нагрудном левом кармане
звенящем...

...Да, полно-разве
мы святы? Да нет, конечно:

В От-Мира-Сего Царстве
живем... Так зачем пешим

ходом,
забыв дружбы,
сходства презрев, крови
свойства предав - по лужам,
по долинам, по взгорьям -

(Спеси одной ради,
да дешевого лоску!..) -
мы бредем в арьергарде
Тридесятого войска?..

...Но вылив в плошку остатки
пива,
и мякиш хлеба
в траву раскрошив,
на кратком
привале - глядим в небо -
в оба! -

авось слетится
к нам, на последний ужин,
стаяка - нет, не жар-птиц, а -
ворон в рубашках дерюжьих...

Елене Шай

Фантазия на тему —Orbis hoc non sufficit”, Е.Шай*

Слижет морская пена
Кровь с запекшейся ранки.. .
Помнишь, как песню пела
Девочка-чужестранка?

Крылья вздымались - плечи
Под шалью, и ломкий голос

На нездешнем наречье
Пел: «Non Sufficit Orbis».

Латыни литые стрелы?
Терпкая соль санскрита?
Хибру? ..

Как она пела:
« Orbis hoc non sufficit!»? -
помнишь?..

...На тусклом снимке
Снов заблудшие тени:
сумрачные фламинго,
солнечные олени,
В волнах закатных - скалы,
В травах рассветных - кони...

—Мира этого мало:
Уместится на ладони -
Весь! -
как на блюде чашка,
Весь! -
Как в шкатулке шишка
хвойная...
Настоящий
он, но маленький слишком,
Мир...»

И с улыбкой странной
(бестолковая нянька!),
—Баюшки” - не —Осанну”
Девочка-чужестранка
Пела ему,
Ей вторит
Ветер: —Мыш, не бойся!
Слышишь, смеется Море:

”hoc non sufficit Orbis” ?”

**Orbis hoc non sufficit (лат.)=This World is not enough (Англ.)*

Дорожная песня

Гале

А после дождичка, в четверг,
Нет, лучше в среду,
Как стает прошлогодний снег,
Я к вам приеду.

Всего делов: надеть берет -
Дань бывшей моде,
Отсыпать мелочь на билет -
Рупь десять, вроде,

В « Кулинарии» взять пирог
(пускай вчерашний,
зато с картошкой!). И пяток
котлет «Домашних»,

И отсчитавши три рубля
от скудной сдачи,
Бутылку сладкого вина
Купить впридачу.

Скорей! Становится темно,
Но знаю точно,
Меня уже давным-давно
Вы ждете очень,

Сегодня, завтра и вчера,
К обеду, к чаю,
И к ночи ждете, и с утра-
Я точно знаю!

...И вдруг сквозь зубы застонать,
Припомнив: в спешке
Забыла время поменять
На век прошедший!

И проклиная тяжесть лет,
И груз авосек,
На вой сирен, на красный свет,
На перекресток,

Наперекор, наперекос -
еще не поздно! -
Назло, на чудо, на авось,
назад - на поезд!

...Но громко спорят воробьи
на шпалах влажных...
Себя корить, судьбу винить -
Теперь не важно...

И уронивши на бегу
Сырые спички ,
Смотреть, как прочертил дугу
Хвост электрички.

... Фонарь, аптека за углом,
и шум вокзальный.
А где же дом? А вот и дом -
Зал Ожиданья.

Смотри, их здесь полным-полно
В огромном зале,
Тех, что куда-то - все равно! -
да опоздали.

Хоть вышли из дому за час,

за год, заранее,
Чтоб на перроне в самый раз,
По расписанью

быть (даже раньше - без десяти!),
Да по ошибке,
Прождали не на том пути,
А на отшибе...

...Да подожди ты, не тужи,
Тужить не нужно:
Здесь тоже жизнь, здесь можно жить
Ничуть не хуже,

Местечко есть - вот, можешь сесть
На лавку сбоку,
Да разве ж неуютно здесь,
Да разве ж плохо?!

Светло, из окон не сквозит,
И пол помытый,
И репродукция висит
Мадонны Литты.

Слонов считать, кроссворд решать,
Листать газету,
С соседом слева поболтать
О том, об этом,

Сосед предложит виноград
Из Ашхабада ...
(А поезд не придет назад.
Ну и не надо...)

И вдруг в окне, где тусклый свет
И голый тополь,

Мелькнет знакомый силуэт,
Любимый профиль,

И расплываясь и дрожа
Эскизно, зыбко:
На челке крапинки дождя,
Глаза, улыбка...

И разбудив невольно страх
На сонных лицах,
Вскочить, вскричать - смеясь, в слезах! -
Пресечь границы

Судьбы,
таможни, рубежи
и даты смерти,
Не в Вечность окунаться -
в Жизнь,
Купаясь в Лете!..

...Но исподлобья взгляд (НЕ тот,
И НЕпохожий!)
Кривит в ЧУЖОЙ усмешке рот
ЧУЖОЙ, прохожий:

«Простите, что?» -
(«да нет же, нет!..» -
НЕ отвечаю!..)
«Не знаете, де здесь буфет?
Мне б выпить чаю...

Где, где?..»
Сглотнув туман сырой
На вздохе : «Здравствуй!»,
Уйти со станции домой,
Обратно, в завтра.

Елена Есилевская - поэт, драматург кино, театра и телевидения. Родилась в Саратове. Закончила сценарный факультет ВГИКа (Москва, 1984 г.). Работала редактором на киностудии им. Горького.

Автор нескольких сценариев и пьес, текстов песен, лауреат двух литературных конкурсов. Выпустила стихотворный сборник в С.-Петербурге.

Руководила детским еврейским театром "Лихтелех". Написала и поставила пять пьес.

С июня 2001 года живет в США. Закончила Нью-Йоркский Университет, имеет диплом психолога-терапевта. Работает в Центре для пожилых людей в Стейтен-Айленде.

Сотрудничает с Калифорнийским АЛЬМАНАХОМ РУССКОЙ ПОЭЗИИ.

МОИСЕЙ БОРОДА

ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ

Он вошёл в вагон, когда до отхода поезда оставалось пять минут.

– Бог ты мой! – какая толчея вокруг! Кто, пыхтя от напряжения, катит за собой огромный чемодан, кто стоит в ожидании, когда сосед уложит свой багаж. Кто-то уже в третий раз прочёсывает вагон, видимо в поисках незабронированного места. Кто-то кого-то зовёт, а между тем стоит в проходе, дожидаясь, пока позванный подойдёт. Маленький ребёнок бежит по коридору к предыдущему вагону, мать за ним.

Скорей бы уж ему добраться до своего места, сесть, отдышаться. Но нет – не протиснешься.

...Всё, перестали ходить туда-сюда, теперь он может пройти к себе и... Стоп! – это не его вагон! Его – на два вагона дальше. Надо же было так ошибиться!

Наконец он нашёл своё купе, вошёл, поставил на верхнюю полку чемодан, задёрнул занавеси у двери, сел – и вдруг почувствовал, как на него навалилась тяжёлая усталость.

...Что-то он в последнее время стал сильно уставать! И это задыхание по ночам, эта боль в груди, так что по временам не знаешь, куда от неё деться! Конечно, он уже не мальчик: сорок пять есть сорок пять, но...

Ладно, всё потом, когда он вернётся. Сейчас – ещё раз просмотреть доклад к завтрашней конференции. Съедется всё, что имеет вес в математическом мире в Германии, и не только. Его доклад поставили первым – на самое, так сказать, почётное место.

...Да, почётное место. А ещё семь лет тому назад, переехав в Германию, он был рад трёхмесячному контракту, да и тот пришёл не сразу.

Он достал из кейса доклад, начал читать – и не заметил, как провалился в сон.

Проснулся он от ощущения, что в купе, кроме него, ещё кто-то есть.

Перед ним, облокотясь на откидной столик, сидела женщина с книгой в руках. Он опустил голову. Первым его чувством был страх: он знал за собой привычку подхрапывать во сне, и сейчас ему было невыносимо думать, что сидящая напротив него женщина слышала его храп.

Он посмотрел на часы. По часам он спал больше полутора часов – когда же вошла она? Если в Ганновере – ещё хорошо, по расписанию они только пять минут как проехали Ганновер, но если она вошла раньше...

Шли минуты, а он всё не решался поднять на неё взгляд. Женщина читала, с тихим шелестом переворачивая очередную страницу, и каждая перевернутая страница как бы говорила ему: Ну что же ты! Наконец он преодолел смущение, посмотрел на свою визави – и у него ёкнуло сердце.

Нет, красавицей в обычном смысле она не была – может быть самым красивым в её лице были миндалевидные тёмные глаза, мягко изогнутые, чуть утонченные к вискам брови, и линия губ. Но всё это было озарено таким внутренним светом, излучало такое обаяние, сочетающее серьёзность и женственность, сознание своей привлекательности и отсутствие кокетства, что у него перехватило дыхание.

Женщина продолжала читать, не обращая на него внимания, и его задевало это, а ещё больше то, что он не знает, как с ней заговорить, чтобы не быть вежливо поставленным на место её "Извините, мне не хотелось бы отвлекаться".

Он уже хотел тихо, не привлекая её внимания, встать и выйти в коридор, когда взгляд его упал на обложку книги,

которую она читала. Это был "Пропавший без вести" Кафки.

– Вам нравится Кафка?

Она подняла глаза.

– Простите, Вы что-то сказали, я не расслышала.

– Извините, я не хотел вам мешать. Мне просто стало интересно. –"Пропавший без вести" читают, насколько я знаю, редко, если вообще. Вам нравится Кафка?

– Да, и очень. Вы имеете что-нибудь против? – она улыбнулась.

– Нет, что вы! Я просто вспомнил, как прочитав его –"Процесс" я долго не мог прийти в себя. И прошли годы, прежде чем я взял в руки его рассказы.

– А –"Замок"?"

– –"Замок" я уже не смог читать. После первых страниц понял, что дальше не смогу.

– А я прочла всё, что Кафка написал. И сейчас перечитываю –"Пропавший без вести"".

Они разговорились. Ясность, неназойливая уверенность её суждений его поразили. И всё время, пока он её слушал, прерывая только короткими фразами, приглашающими её ответить, говорить дальше, он любовался её излучающими матовый свет глазами, очертаниями губ, её вдруг озаряющей лицо улыбкой, тем, как она произносит слова.

Потом, может быть почувствовав, что он скорее любит её, чем слушает, она прервала себя на полуслове и извинившись, взялась за свою книгу – как если бы её чтение ничем не было прервано и она была бы в купе одна, а его не существовало бы вовсе.

Он взял в руки свой доклад, попытался на нём сосредоточиться, представить, какова будет реакция коллег на вступительную часть, не стоит ли сгладить там пару полемических мест – но после нескольких минут рассеянного чтения положил доклад на столик.

Почувствовала ли она себя неловко за то, что резко прервала их беседу или ей передалось его волнение – но

вдруг она, подняв на него взгляд, спросила: «Как вы думаете, где бы оказался Кафка, если бы он дожил до того времени, когда его сюжеты стали... реальными?»

Неожиданное обращение застало его врасплох. Он на миг замешкался и вопросительно посмотрел на неё.

– Но они... БЫЛИ реальными.

– Были?

– Были. Только для многих это было – ну, под порогом чувствительности. Знаете, как в шахте, когда собирается рудничный газ, и его долгое время не замечают, а потом газ взрывается – достаточно маленькой искры, чтобы это случилось.

– Всё, наверное, не так просто. Я немного знаю об этом времени – из прочитанного, из рассказов родственников, друзей. Культурная жизнь в эти годы – она была на такой высоте! Журналы, книги, театры, кино! Всеобщее поклонение искусству. Цвайг, Шнитцлер, Хофманшталь, Макс Райнхардт – и это только первое, что приходит в голову, когда думаешь о том времени. Нет, всё не так просто.

– Да, поклонение искусству. Журналы. Книги. Театры. А под всем этим уже текла раскалённая лава. И ждала только случая, когда она может выйти на поверхность. И затопить всё. И когда эта лава дождалась своего часа, она...

– ...Может быть, вы правы. Может быть. Я раньше об этом не думала. Или не думала об этом так. Но всё же: если бы Кафка не умер, если бы он дожил до... – что бы с ним было? Я часто спрашиваю себя об этом. Может быть, потому, что Кафка для меня – что-то совсем особенное. Ещё и потому, что он так рано умер, ушёл из жизни неизвестным. Не понятным никем. Горько разочарованным. С просьбой, чтобы после его смерти сожгли всё, что он написал. И тогда спрашиваешь себя: что было бы с ним, если бы...

– Что бы с ним было? То же, что с другими. Что было бы с... например, с Цвейгом если бы он не бежал. Или с

Артуром Шнитцлером, если бы он не умер раньше. С Максом Рейнхардтом, если бы он вовремя не понял, чем ему грозит будущее Или... или с Малером, доживи он до этого времени.

– Цвейг? Кафка? Малер?

– Что ж: разве они не были чужими среди чужих? И когда это стало возможно, этих чужих изгнали. Отовсюду. А потом – из жизни.

– Но... нет! Это – нет!

– Нет – потому что они были так... значительны? Я не знаю, говорит ли Вам что-нибудь имя Хаусдорф. Феликс Хаусдорф. Он был одной из ярких звезд в математике.

– Я слышала это имя от моего брата. Его диссертация была связана с Хаусдорфом. Мне даже запомнилось из заглавия... "мера Хаусдорфа"... кажется, так. Потом брат работал как postdoc в этом... Хаусдорф-центре.

– Да, Хаусдорф-Центр. Хаусдорф-профессуры. Стипендии. Сейчас. А тогда... 1935-й год. Изгнание из университета. Годы и годы – семь лет! – жизни, когда каждый прожитый день превращается в цепь унижений. И наконец – финал. 1942-й, начало. Последние депортации. Накануне дня, когда он должен был быть депортирован, Хаусдорф покончил с собой... Это – о "значительных". Впрочем, что вообще такое "значительность"? Критерий, жить человеку или не жить? Знаете, когда... дьявол выходит на охоту, напрасно ожидать спасения. Но не будем больше об этом говорить.

– Это моя вина. Я затронула эту тему.

– Нет, нет, всё в порядке.

– Но вы рядом с Кафкой назвали Малера. Это было случайно – или вы думаете, есть какая-то связь? Что-то общее?

– Общее? Вряд ли. Впрочем... Кафка мог бы сказать о себе то же, что сказал когда-то Малер: трижды лишен родины – как чех в Австрии, как австриец...

– Да, я знаю это высказывание. Но...

– Нет, Малера я назвал как пример, что даже такой гений не может быть спасён, когда...

– ...дьявол выходит на охоту.

– Тут просто неоткуда ждать спасения. Сатанинство захватывает всех. Как чума, как...

– Ну вот видите. Я опять навела вас на эту тему.

– Нет, это я виноват. Действительно, не надо больше об этом.

– Вернёмся к Малеру. То, что вы сказали о нём: гений – это ваше личное? Или...

– Для меня Малер – это не просто музыка. Это – совершенно другое видение мира. Другое, чем было в музыке до него.

– В каком смысле – другое?

– Знаете, так получилось, что моё знакомство с его музыкой началось с Восьмой симфонии – услышал её в концерте. Это было... ощущение мира как гигантской драмы. Гигантской развёртывающейся драмы, в чём-то подобной катастрофам во Вселенной. Драмы, от которой веет дыханием Ветхого Завета. Трагедии, в которой добро и зло сталкиваются в огромных масштабах. И в центре этой драмы, этой трагедии, в её эпицентре – человек.

Потом, когда я послушал другие вещи Малера, это моё впечатление только подтвердилось.

Впрочем, я ведь не музыкант и уж тем более не музыковед. Когда я как-то сказал нечто подобное моему знакомому музыковеду, он только вежливо улыбнулся.

– А моё знакомство с музыкой Малера началось с *Adagietto*. До этого я долго – это, может быть, смешно – боялась слушать его музыку. Наверное потому, что слишком много слышала о ней от моих друзей-музыкантов. Одни говорили, что это – одна из вершин музыки вообще. Другие – что талант Малера как композитора был меньше его концепций. Что в его музыке смешаны разные стили, что она... эклектическая. Но вот я услышала отрывки из *Adagietto*, в этом фильме...

– Смерть в Венеции.

– Да. Смерть в Венеции. Эта музыка... она врезалась в сердце. Она – как прощание. Мир прощается с человеком. Который выполнил своё назначение и уходит. И мир прощается с ним. Все, к чему человек прикасался в жизни, говорит ему "прощай". В этой музыке так много... так много утешения. И слёз. Потому что плачет каждая вещь, которая расстаётся с уходящим.

Потом я послушала многое из того, что Малер написал. Что-то осталось в памяти, что-то исчезло. Не исчезло Adagietto. Я его слушала столько раз, что наверное знаю наизусть. Может быть это лучшее, что создано в музыке о Прощании. Не знаю. Я ведь тоже не музыкант. Но... извините, я, кажется, вас прервала.

– Нет, что вы! То, что вы сказали сейчас об этой музыке... лучше сказать, наверное, невозможно.

Они разговорились о Малере, потом о музыке вообще. У них оказались близкими музыкальные вкусы, любимые композиторы, произведения, исполнители.

Зная за собой, что его немецкий хорош – или во всяком случае, сносен – до тех пор, пока он не начинает волноваться и говорить быстро и много, он старался унять своё волнение, не дать ему проскользнуть в речь, в основном слушать её. И всё же несколько раз он поймал себя на неловких, грубых ошибках – впрочем, она, кажется, не заметила их, а может быть простила.

Но постепенно разговор их стал иссякать, и у него вновь возник страх, что сидящая напротив него женщина, вежливо ему улыбнувшись и поблагодарив за беседу, возвратится к своей книге.

Она уже, кажется, собиралась это сделать, когда в их купе заглянул разносчик кофе и спросил, может быть господа желают...

– Нет, спасибо.

Разносчик прошёл со своей тележкой дальше.

– О, извините! Я сказала ему «нет» – может быть, вы хотели кофе. Но он через пару минут вернётся, и...

– Нет, нет, я не собирался – да и сейчас уже обеденное время. Может быть, имеет смысл пойти пообедать в ресторан. Он здесь неплохой: я часто езжу этим поездом...

Она вскинула на него взгляд и улыбнулась:

– Да, я знаю. Но...

– Разрешите мне пригласить Вас. Пожалуйста, доставьте мне это удовольствие.

Всё время, пока они шли – она впереди, он чуть позади – он думал о том, как ему сделать, чтобы эта встреча не закончилась через несколько часов расставанием навсегда. Мысль о том, что он не знает о ней ничего, не знает даже, как её зовут, мучила его. Может быть, она замужем? Может быть, она вообще живёт в другой стране, а здесь проездом. Едет ли она до Мюнхена или выходит раньше? Они уже входили в вагон-ресторан, когда он взял её под руку. Она не отняла руки, не обернулась с удивлением, лишь слегка улыбнулась.

Они выбрали столик, сели. Из окна были видны раскинувшиеся вдалеке освещённые солнцем поля. По полям медленно, словно утомлённые летним зноем, ползли тракторы и грузовики: шла уборка сена. И тракторы, и грузовики, и люди, скатывающие сено в тюки, издали казались игрушечными.

Подошёл официант, принял заказ и отошёл.

Некоторое время они сидели молча, глядя в окно, думая каждый о своём, или может быть, боясь нарушить молчание какой-нибудь неловкой фразой. Он смотрел в окно, но не видел ни полей, мимо которых они проезжали, ни ползающих по полю машин, ни людей – не видел ничего, кроме её освещённого солнцем профиля, на который он краешком глаза, не в силах оторваться, смотрел.

Может быть, почувствовав его взгляд, она обернулась; обернулся и он. Её лицо в свете заходящего солнца

показалось ему теперь особенно, необыкновенно, невыразимо прекрасным.

Вновь подошёл официант, принёс заказанное, расставил и спросив, не нужно ли чего-то ещё, —«Нет, спасибо», — отошёл к себе.

Их разговор быстро соскользнул на литературу, потом на живопись — впрочем, говорила сейчас в основном она. Он, редко пропускавший возможность посетить очередную выставку, не говоря уже о хороших музеях, слушал её со смешанным чувством восхищения и досады — досады на то, что ему, считавшемуся в среде коллег чуть ли не знатоком живописи, на самом деле так мало известно. Имена почти забытых художников, то, что они создали, их эпоха, окружение упоминались ею так, как если бы она была их современницей.

— Вы — искусствовед? — скорее сказал, чем спросил он.

Она улыбнулась:

— Нет, я биолог. Но я из семьи художников, и мой отец... Извините, мне звонят.

Она достала из сумочки телефон, поднесла к уху:

— Ох, наконец! Я уже не знала, что мне думать, почему ты не звонишь. ...Когда?..

Его вдруг захлестнула волна ревности к этому "некто" — мужу? любовнику? другу? Он старался не слышать её ласкового тона, нежности, с которой она обращалась к этому "некто". Наконец со словами: "Да, конечно. Целую тебя." она окончила разговор, уложила телефон в сумочку.

— Звонил сын. Я уже начала беспокоиться, почему он третий день не звонит. Но, слава Богу, всё в порядке.

Знаете, за детей беспокоиться, пока живёшь. Ну а потом им предстоит так же, пока живут, беспокоиться за своих детей. Впрочем... мужчинам это чувство, кажется, меньше знакомо? Или не у всех так?

Он ответил глухо — захлестнувшая его волна ещё не отошла:

– Мне... трудно об этом судить. У меня, к сожалению, нет детей. Так сложилась жизнь. Вначале всё поглотила наука, потом...

– Я понимаю. Мне самой было трудно решиться. Казалось, это конец моей работе, конец всему, что я с таким усердием начинала. Потом, когда родился сын, я поняла, что все мои переживания, все мысли о конце – это был... голос эгоизма. И сейчас я счастлива, что приняла такое решение. Нет, я не бросила работу, не бросила заниматься исследованиями. Многие вещи в своей специальности я даже стала понимать лучше. Но извините, может быть, для вас это...

– Нет. Просто у каждого своя дорога. А ваш... муж – он...

На какой-то миг тень пробежала по её лицу.

– Мой муж, – она чуть опустила глаза, – он... Он оказался не готов к этому. Для него рождение ребёнка было катастрофой, крушением его планов. И нам пришлось расстаться. Теперь это в прошлом, я могу говорить об этом спокойнее. Я даже могу его понять. Не все мужчины могут смириться с тем, что на их свободное время имеет право кто-то другой. Особенно маленький ребёнок.

Возможно, почувствовав в её словах какой-то упрёк себе, он вдруг стал рассказывать ей о своей прошлой жизни, о том, чего ему стоило, покинув страну, для которой он с самого первого дня своего появления на свет был нежеланным пасынком, начать в сорок лет новую жизнь – в другой стране, в которой всё, начиная с языка, было другим. В стране, в которой он тоже был нежеланным пришельцем и ещё менее желанным конкурентом.

Он говорил, со страхом чувствуя своё возрастающее волнение, с которым всегда приходили ошибки в языке, тянущие за собой следующие ошибки – говорил, стыдясь своих обмолвок и того, что сидящая перед ним женщина может принять сказанное за попытку оправдаться.

В какой-то момент он на несколько секунд запнулся, подыскивая слово, поднял на неё глаза, и увидел её улыбку.

– Мы можем говорить по-русски. ...Да, я знаю этот язык. Я учила его в школе. Потом на специальном курсе в университете. Потом я училась в аспирантуре в Москве. Мои русские знакомые говорят, что мой русский – аутентичный. Но это всё же только красивый комплимент. Когда я некоторое время не имею шанс... возможность говорить по-русски, я замечаю, что какие-то немецкие конструкции или даже слова приходят как гости, которых не приглашали.

– Вы болгарка?

– Да. Как вы угадали?

– По акценту. У нас на факультете есть женщина-доцент из Болгарии, мы с ней иногда говорим по-русски, у неё такой же акцент, как у Вас – лёгкий, почти незаметный.

– Да? Интересно, я об этом не думала. Но вы говорили... Вы рассказывали про вашу жизнь... там. Или, может быть, вам тяжело об этом говорить? Знаете, в нашем институте работают два ... двое коллег из России; один из Москвы и другой из Новосибирска. Мы часто друг с другом разговариваем. И я многое от них знаю. Но мы в Болгарии тоже знаем, моя семья знает, какая тяжёлая рука была у нашего "большого брата". Когда в Болгарию пришли "освободители", то дядю моей матери и его трёх... троих сыновей сразу арестовали. Хотя они не были на стороне немцев. И только через много лет мы узнали, что их отправили в Россию, в лагерь. И они все там погибли. И такие случаи, как в нашей семье – их было не так мало.

– Я слышал, что Борис Христов после 1945-го года не приезжал в Болгарию. Это правда?

– Христов... он вам нравится?

– Это лучший бас, какого я слышал. Мне он кажется даже более значительным, чем Шаляпин.

– Христов – он может быть больше... как это лучше сказать... больше европейский. Или более точно: в его пении соединяются болгарское и итальянское.

– Я знаю многие его записи. Его Филипп! Каждый раз, когда это слушаешь, пробирает дрожь. Или Борис. Или Мефисто. Или Лепорелло. Или...

– Скажите, – она посмотрела на него с лёгкой улыбкой, – если бы я не была из Болгарии, вы бы вспомнили в нашем разговоре о Христове?

– Не знаю. Наверное, нет. Впрочем... может быть, если бы пришлось к слову. Знаете, есть даже очень хорошие музыканты, настоящие звёзды, но их нельзя слушать много раз подряд. Христов для меня – редкий случай. Я могу несколько раз подряд слушать, как он поёт эту арию Филиппа или «Для берегов отчизны дальней» – и каждый раз открываются новые краски, кажется, что он поёт по новому. А вообще, Болгария – страна басов.

Она рассмеялась:

– Ну, певцы – это не всё, что у нас есть.

– Я знаю.

– Вы уже были... бывали в Болгарии?

– Да, дважды. Во второй раз я ездил туда уже из Германии. Встречался с коллегами-математиками из Софийского университета и Академии наук. Ну и немного поездил – сколько хватило времени. Был в Пловдиве, в Варне, в Бургасе. Знаете, что меня в Болгарии особенно поразило? Спокойствие людей. А это были уже совсем не такие спокойные времена. До этого я был в Венгрии, там напряжённость чувствовалась в воздухе. А тут – такое спокойствие.

– Нет, у нас всё не так просто. К сожалению. Всё сложно. Очень сложно.

– Счастливый вы человек! Вы говорите "у нас" – а ведь вы наверное уже долго живёте в Германии.

– Двенадцать лет.

– И всё же и сейчас говорите: "у нас". А для меня этого "у нас" нет, осталось только "там". Так вышло. Немногие друзья – они уже не там, жизнь разнесла нас на тысячи километров друг от друга. И может быть, для многих из нас этого "там" уже нет. И появилось ли новое "здесь", может ли оно вообще появиться...

– Может быть, оно появится у наших детей? ...О, извините...

Она положила руку на его руку и посмотрела ему в глаза:

– Я понимаю Вас.

У него перехватило дыхание, горячей волной обдало сердце, он почувствовал, что ещё секунда – и у него на глазах появятся слёзы, и это может убить всё. Сдерживая себя, он тихо сказал:

– Спасибо вам. Наверное, не надо об этом говорить. Может быть, и думать тоже не надо. Или нельзя... – и чтобы подавить в себе это состояние, улыбнулся ей и сказал: Ну вот видите, пригласил вас пообедать, а обед между тем стынет...

Есть он почти не мог. Спазм сдавил горло.

Некоторое время оба молчали. Он то искоса, то чуть подымая глаза, смотрел на неё – смотрел, думая о том, что он всё больше и больше привязывается к этой женщине, что через несколько часов они скорее всего расстанутся навсегда, она уйдёт из его жизни, оставив ничем не закрываемую пустоту в душе.

Она вдруг повернулась к окну:

– Посмотрите, посмотрите! Там, слева! Видите? Журавли. Какая красота, какая стройность в полёте! Какая стройность! Знаете, в детстве меня так притягивал этот полёт! Над домом, где мы жили, пролетали журавли. Они летели и... этот крик – или... я даже не знаю, как точнее сказать... да, наверное, крик; я всегда думала: почему они кричат, что значит этот крик?

Я так хотела подняться туда, где они летели. Взлететь, оторваться от того, что притягивает к земле...

– ...Разрыва опостылевших оков...

– Простите, что вы сказали?

– Мне вспомнилось одно стихотворение. Там есть эти слова "Разрыв опостылевших оков"

– Разрыв оков... Да, наверное так.

– ~~Меня~~ всегда притягивали птицы / Их вереницы в дальнем детском сне? – так оно начинается.

– Их вереницы в... детском.... в дальнем детском сне. Но дальше? Как дальше?

*Меня всегда притягивали птицы
Их вереницы в дальнем детском сне
Их крики на границе небылицы
В закате окровавленном окне.
И тайна...*

М...м... – минутку, я сейчас вспомню...

*И тайна их бес...шумного полёта
Разрыва опостылевших оков...
Взлететь бы хоть мечтою из болота
К их силуэтам возле облаков.
О чём кричат? – Что век мой всё короче? –
На грани ночи свет звезды колюч... –
Отчаянно печальный плач пророчеств,
К которым навсегда утрачен ключ...
Тоска петлей и круг мой уже, уже –
Последние прозрения Души...
И птицы... – Уж не те ли это Души,
Которые ушли, ушли, ушли...*

– Какие стихи! И как печально! Господи Боже, как печально! Птицы – как Души умерших! Эти стихи... они ваши?

– Нет, что Вы! Я на такое абсолютно не способен. Всё моё творчество – научные статьи, пара таких же книг. Эти стихи – моего друга и коллеги. Математика и поэт*. А я – увы! – только читатель.

Она посмотрела на часы. – Нам пора возвращаться. Спасибо вам. Мне было очень приятно.

– Спасибо вам.

Придя в купе, она сказала: "Извините, мне нужно ненадолго выйти" и оставила на столе сумочку. Телефон она из сумочки не достала, и это его немного успокоило.

Когда она вышла, его охватила никогда им прежде с такой силой не испытанная тоска. Было ли это тоской по скрашивающему жизнь тихому домашнему уюту, устроенности быта, милым мелочам, казавшимся ему ещё так недавно убийцами творчеству, засасывающими человека силой Кориолиса в воронку, из которой ему не выбраться? Было ли это щемящим чувством, чтоб он в свои сорок пять лет, достигнув многого из того, чего хотел добиться, не имеет в этом мире ничего, кроме щекочущих самолюбие фраз – «первые в мировой научной литературе», завистливого уважения менее удачливых коллег и время от времени – восхищённых взглядов студентов, а чаще студенток – не без тайного желания использовать его как трамплин.

Если бы его спросили, почему он в свои годы ещё не женат, он бы смутился, не зная, что ответить. Иногда он спрашивал об этом себя, но каждый раз, внутренне усмехнувшись, говорил себе, что он видимо не создан – или не созрел – для женитьбы или она не создана для него. Слыша разговоры коллег об их семьях, об успехах их детей: «Нет, ну ты представляешь, в пять лет – и сочиняет такие стихи!» или «Мы повели его на прослушивание, и надо же: блестящие музыкальные данные!» – он

**Это стихи Бориса Кушнера*

поздравлял, говорил, что да, замечательно, действительно достойно удивления – ну и всё, что говорят в таких случаях – одновременно чувствуя, как это всё от него далеко.

Те недолго длящиеся связи, что у него были за годы до его переезда в Германию и потом, не оставили в нём ничего, кроме ощущения какой-то обманутости, хотя встреченные им женщины были недурны собой, далеко не глупы и не притязали ни на замужество, ни даже на просто долговременные отношения. Каждый раз, когда очередная такая связь заканчивалась – почти всегда не по его инициативе – он чувствовал пустоту в душе, разочарование и одновременно облегчение, как если бы освободился от непосильной для него ноши.

Несколько раз, когда он уже работал в Германии, в него влюблялись студентки (он был вообще любим студентами, охотно прощавшими ему и строгость на экзаменах, и ошибки в немецком, и неизгладимый русский акцент), но во всех этих случаях он терялся, не знал, куда ему от этой влюблённости деться, говорил в ответ на признания какие-то тривиальности или пытался отделаться шуткой – и сквозь всё это просвечивал страх перед неожиданно свалившимся на него грузом.

Потом, когда он уже был "Professor auf Lebenszeit", он влюбился в свою смуглолицую аспирантку со звучным именем Лара О'Хара – гремучую смесь индианки и ирландца. Она пришла к нему с просьбой о научном руководстве её на четверть уже написанной диссертации и поразила его в первое же знакомство сочетанием глубокого ума, своеобразной красоты и страстности натуры.

Всё то время, пока они были вместе, его не оставляло ощущение, что часть его жизни, о которой он раньше думал со смешанным чувством сожаления и лёгкого стыда, понимая, что её скорее нет вовсе – эта часть наполнилась содержанием. И всё же, когда он был один, он часто

спрашивал себя или невидимого собеседника, что будет с этой связью дальше, во что она выльется, как отразится на его жизни.

Он понимал, что долго это продолжаться не может, что женщина, которая была теперь рядом с ним, никогда не примирится со своим "подвешенным" состоянием, что он рано или поздно будет оставлен и что ему будет трудно справиться с этой потерей. И всё же мысль о женитьбе была для него тяжела, картины семейного быта, которые он видел в домах своих коллег, вызывали у него страх; мысль о том, чтобы самому окунуться в такую жизнь, приводила его в отчаяние.

Как-то раз, когда они с Ларой, утомлённые сексом, лежали рядом, каждый отдавшись своим мыслям, она вдруг, как бы размышляя вслух, спросила: «Интересно, если у нас родится ребёнок, на кого он будет похож – на тебя или на меня? Или на обоих? Или он вообще будет краснокожим, как предки моей матери? Как ты думаешь?» – и обернувшись к нему и приподнявшись на локте, посмотрела ему в глаза.

Он почувствовал, как побледнел. Она, смотря на него с откровенной усмешкой, сказала: «Не волнуйся, мой дорогой. Он не родится», встала, медленно оделась, и уже у двери, полуобернувшись, как бы продолжила: «Какой же ты всё-таки одинокий. Мне тебя часто бывает жаль. И себя тоже».

Через три месяца она, защитившись, уехала в Штаты. Год спустя он узнал из её письма, что она вышла замуж и родила дочь. В письме была и фотография: она с дочерью на руках; на обороте надпись: «В память о наших встречах». Тогда он впервые почувствовал, что в его жизни что-то надломилось, и прошло немало времени, прежде чем он справился с этим ощущением, убедив себя, что семейная жизнь с Ларой всё равно кончилась бы крахом, что она не отвечает тому идеалу, который он в своём воображении создал, и что он, может быть, не выдержал

бы её вулканического темперамента, проявлявшегося во всём, чего бы она ни касалась...

Сейчас он с грустью думал, что встреченная им женщина вряд ли согласится на то, чтобы он как-то, пусть и вначале только от встречи к встрече, вошёл в её жизнь, в которой, судя по тону, каким она говорила по телефону с сыном, она была счастлива. И уж совсем невероятно то, что она согласится разделить с ним свою судьбу.

Всё, что ему ещё так недавно казалось настолько важным, что над этим не стоило и задумываться, внезапно потускнело, поблекло, съёжилось. Ему вдруг вспомнились слова из письма Лары, написанного через несколько лет после их расставания: «Ты одинок как степной волк. Или как человек, рождённый в скорлупе. Может быть, потому ты так не боишься одиночества. Но не дай Бог тебе однажды ощутить, что этой скорлупы вокруг тебя нет, что кто-то разбил её – пусть даже этим кто-то будешь ты сам». Воспоминание ударило ему в сердце, у него застучало в висках, заныло в груди.

Зазвонил телефон. В этот момент она вошла в купе. Взглянув на дисплей, нажала на отбой разговора. Потом, пристально посмотрев на него, обеспокоенно спросила:

– Что с вами? Могу я чем-нибудь помочь?

– Нет, нет, это у меня бывает, когда очень устану. – Он усмехнулся, усмешка вышла горькой, кривой.

– Может быть, вам надо лечь? Я подыму подлокотники, и вы можете...

– Нет, спасибо, это сейчас пройдёт. – Боль в груди чуть утихла, но появилась боль в левой руке; рука как будто онемела. – Нет, в самом деле, мне лучше. Если вы не против, продолжим разговор, который мы начали в ресторане перед тем, как уйти.

– Боюсь, что времени на это у нас не осталось. В Вюрцбурге мне выходить.

– В Вюрцбурге? – у него упал голос.

– Да. И мы уже приближаемся, будем там через..., – она посмотрела на расписание, – двенадцать минут, так что мне уже нужно собираться.

Она уложила телефон и книгу в сумочку, сняла с вешалки плащ, поставила чемодан у двери, положила на него плащ и села на своё место у столика.

Он молча следил за её движениями, но когда она села, он сказал:

– Можно мне проводить вас? Да, я еду дальше, в Мюнхен. Но у меня достаточно времени, чтобы поехать следующим поездом. Мы можем выйти в Вюрцбурге. Я там часто бываю, там есть несколько очень хороших ресторанов. Мы бы продолжили наш разговор, а потом...

– Спасибо. Нет. Не обижайтесь. Меня будут встречать... сын и его жена. И для них было бы очень странно увидеть меня... Вы понимаете. Но даже если бы это не было так. Вы ведь совсем не знаете меня, я не знаю вас. Мы оба не очень молоды... Да, мы уже не так молоды, чтобы отдаться первой случайной встрече. Пусть эта встреча даже принесла нам радость. Пусть и так, что эта радость была неожиданно большой. Но – дальше? Идти дальше по дороге, которая есть только... только в нашем воображении? Что если на этой дороге нас ожидает разочарование, горькое разочарование – что тогда? Кто знает, что случилось бы, если не остановиться сейчас, не сказать себе: «Стоп. Дальше – нет!»

А теперь нам надо прощаться. Поезд скоро подойдёт к станции. ...Спасибо, чемодан я понесу сама. ...Нет, провожать меня к выходу не надо. Давайте попрощаемся здесь. – Она встала и протянула ему руку.

Он встал, пожал её руку, задержал в своей и вдруг, повинувшись безотчётному порыву, обнял её, прижал к себе и стал целовать её волосы, глаза, лоб. Она мягко отстранилась и тихо сказала:

– Не надо, мой дорогой. Не надо, – повторила она ещё тише. – Пожалуйста. Мне, может быть, тоже... непросто.

Да, мне давно не было так свободно, так легко. И да, на какой-то момент пришло это ощущение, что я счастлива. Что человек, с которым я так... неожиданно встретилась, оказался мне... близкий, может быть очень близкий. Но всё равно – не надо. Спасибо Вам за всё, за день, что мы провели вместе. А сейчас...

– Я... прошу Вас, – он едва узнал свой голос, – я даю очень прошу: не уходите из моей жизни. Это звучит по мальчишески, но – я не смогу без вас, без того, чтобы видиться с вами, моя жизнь, которая мне казалась – или была – устоявшейся, она станет без вас... пустой. Поверьте: я никогда ни одному человеку до вас такого не говорил. Если бы я услышал то, что сейчас говорю, ещё день тому назад, я бы иронически усмехнулся, назвал бы всё это парадом тривиальностей. Но сейчас у меня нет других слов.

Всё время, пока он говорил, она молчала, опустив голову. Потом она подняла на него взгляд. В глазах у неё стояли слёзы.

– Видите, – она улыбнулась, – у нас ещё ничего не началось, а вы уже довели меня до слёз. Что же будет впереди?... Она достала из сумочки платок, прикоснулась к глазам, положила платок обратно. – Дайте мне вашу визитную карточку, я вам позвоню. ...Я обещаю. Ещё раз – спасибо за всё.

Он стоял и смотрел на неё, как она идёт по коридору.

Потом он подошёл к окну и увидел её стоящей рядом с высокого роста мужчиной и молодой женщиной, держащей мужчину под руку. Потом все трое прошли, о чём-то разговаривая, к выходу в город. Они уже пропали из виду, а он всё стоял у окна, не в силах двинуться – стоял и тогда, когда поезд тронулся и сквозь пелену начавшегося дождя стали уже еле видны контуры исчезающего из поля зрения здания вокзала. Наконец он отошёл от окна, вошёл в купе и сел. Тупая боль в груди и под левой лопаткой,

отпустившая его на время, пришла вновь. Он откинулся в кресле и закрыл глаза.

Ещё несколько дней назад ему удавалось, полежав минуточку-другую, снять боль, сейчас же она не проходила. Чтобы унять её, он стал думать о встреченной им женщине, о том, как она позвонит ему, как они встретятся, и станут встречаться, и его жизнь обретёт тот смысл, без которого он уже не сможет жить дальше. Он пытался представить себе картины их встреч, их совместной жизни, но боль была рядом, она мешала сосредоточиться, он отгонял её, но она не уходила, сдавливая ему горло, мешая дышать. В какой-то момент он почувствовал, как его охватывает сон, и обрадовался этому.

Сквозь сон он услышал звон своего мобильного, мгновенно проснулся и рывком потянул к себе портфель с телефоном.

Страшная боль в груди отбросила его к креслу. В голове ечто-то сверкнуло, и последнее, что пронеслось в его сознании, был столик в вагон-ресторане, колесница птиц на ослепительно-голубом небе – и её лицо, освещённое солнцем догорающего дня.

Телефон прозвонил, с коротким перерывом, ещё несколько раз. Потом замолк.

Моисей Борода – доктор музыкологии. Окончил Тбилисскую консерваторию (1971). Стипендия фонда Александра фон Гумбольдта (1989) за исследования взаимосвязи музыкального и естественного языка. С 1989 г. – в Германии.

Автор рассказов, стихов, публицистики, переводов. Изданы четыре книги. Публикации в Грузии, Израиле, США, Германии, Украине, в журналах и на литературных сайтах. Член Союза композиторов и Союза писателей Грузии, Международной Гильдии писателей и лит. объединения немецкоязычных авторов, проживающих в земле Северный Рейн-Вестфалия.

ОЛЕГ ГЛУШКИН

САНА – ЛЮБОВЬ МОЯ

Я должен был найти ее, мою первую девушку, так внезапно исчезнувшую из нашего общежития. Я знал о ней только то, что она приехала из Дагестана, что временно живет в Кирьяновке – поселке у моря. Еще я знал, что имя ее Сана, и что ни у одной из девушек нет таких больших и влажных глаз, и что ни одна из девушек так плавно и легко не танцует. Стаса из нашей студенческой группы я увлек обещанием познакомить с подругами Саны, ведь у красивой девушки и подруги должны быть красавицами, а возможно, и сестры у нее есть. Влад пошел без всякой цели, он всегда сопровождал меня, и у нас не было друг от друга никаких тайн. Он знал, что Сана у меня была первой, сам же он до сих пор оставался девственником, один из немногих на нашем курсе.

Мы доехали на автобусе до остановки, ближайшей к поселку, и побрели через поле туда, где рядом с лесом виднелись черепичные крыши старых рыбацких хат. Надо было найти дорогу, но нам показалось, что так напрямик будет ближе. Но поле было все покрыто рытвинами, мы то и дело оступались, попадая в скрытую молодой весенней травой яму. К тому же утренний туман никак не хотел рассеиваться, он опускался на землю плотными ватными слоями и мы брели в нем, не различая своих ног. Через полчаса Стас начал ворчать и настаивать на возвращении. Но я так решительно зашагал вперед, что он сразу понял, отговаривать меня бесполезно.

Влад догнал меня, но и он стал уговаривать вернуться и искать нормальную дорогу. Предупредил: здесь шли бои, эти ямы – траншеи и окопы, мы запросто можем нарваться на мину. Не выдумывай, столько лет прошло, все мины успели проржаветь, успокоил я его, хотя сомнения

прокрадывались и ко мне. Но у меня была цель, ради которой я смог бы преодолеть любые препятствия. Я должен был отыскать Сану, я должен был вернуть ее. Почему она исчезла, не попрощавшись. И к чему были все ее заверения, к чему были слова и обещания, возможно, я что-то не понял, но ведь была любовь, пусть не любовь, но страсть была подлинной. С первой минуты и до последней. Когда ночью я увидел ее в коридоре общежития, на нашем мужском этаже, когда я взглянул в ее глаза, я сразу понял, что судьба послала мне ту девушку, которую я безнадежно и долго искал, о которой мечтал по ночам. Это была восточная царица из сказок. С большими влажными глазами и загадочной полуулыбкой. И эта царица нуждалась в моей защите. Она была здесь у своих земляков, что-то там у них произошло, они повздорили, выставили ее за дверь среди ночи. Я не расспрашивал почему, и кто они эти земляки. Если эти люди – кавказцы, то они не могли так поступить. Но кто бы они не были, я им благодарен. Я смог спасти и приютить царевну. Ведь в эту весну после первого курса я остался один в комнате, старшекурсники, жившие со мной, отправились на плавательную практику.

Я протянул руку Сане, и первое соприкосновение наших рук было как искра, как некий неожиданный разряд. Ее рука вздрогнула, я сжал ее пальцы. У нее была шелковистая нежная кожа. Она без всяких отговорок пошла за мной. Так же, не сказав ни единого слова и не включая света, мы обнялись в пустынной комнате и начали целоваться. Целую неделю любви подарила мне Сана. Мы почти не выходили из общежития. Почти не ели. Я сходил в буфет на первом этаже, набрал там саек и кефира, у меня была припасена бутылка сухого вина, но мы и без вина были пьяны. Мы почти не говорили, растворяясь в объятиях друг друга. Несколько раз настойчиво стучали в дверь мои друзья. При стуках мы замирали и еще крепче обнимали друг друга. Как потом рассказал Стас, они,

обеспокоенные моим отсутствием, хотели даже взломать дверь, но им объяснила буфетчица, что я жив, что я брал в буфете десяток саек и пять бутылок кефира, и они поняли, что беспокоиться не надо, и даже прикрыли меня на сдачах последней лабораторной работы, сделав за меня и сдав скопированный у кого-то из старшекурсников чертеж.

Я не торопил события, и не настаивал на близости, мне казалось, что это может оттолкнуть Сану. Мы разделись и легли вместе только на второй день. Поначалу все это быстро кончалось, но потом продолжалось все дольше и дольше, погружая нас в неизведанные глубины страсти и даря невиданное наслаждение. Я много читал об этом, я смотрел не раз эти сцены в кино, я слушал рассказы бывалых ходяков, я много раз видел это во сне, но то, что происходило у меня с Саной на яву, не поддается никакому описанию. Я думаю, в эти дни не было счастливей меня человека на земле, ну если не на земле, то по-крайней мере в нашем общежитии, в огромном десятиэтажном доме-корабле, ибо внешне здание напоминало океанский лайнер, и конечно было свидетелем множества ночей любви, но уверен таких, какие были у нас с Саной, оно еще не видело. Конца нашей изобретательности не было, и с каждым разом мы открывали что-либо новое друг в друге, и старались постичь это новое и впитать в себя каждое мгновение.

Мы мало говорили, казалось, слова могли все испортить, внутри нас звучала музыка, и музыкой подпитывал нас мой плеер, музыка без слов, пенние волторны, плачи скрипок, призывы трубачей...И повторяющиеся ритмы фламенко. И танец Саны в полутьме – кружение в пустой комнате. Таинственное, голубоватое в свете уличных фонарей гибкое тело повторяли тени на стенах. Конечно, это было необычное фламенко, в нем были полеты горных птиц и предчувствие тоски и счастья одновременно. Этот танец у нас называют «Нариари», сказала Сана, я дарю его тебе. Мне нечем было одарить Сану. И я отдал ей

единственную драгоценность, доставшуюся мне от бабушки, недавно покинувшей этот свет, янтарный кулон в серебряной оправе, и она поклялась, что никогда не расстанется с ним.

Мы были одного возраста, мы читали одни и те же книги, смотрели одни и те же фильмы, и мы с полуслова понимали друг друга. Хотя иногда мне казалось, что Сана много старше, во всяком случае ей пришлось многое пережить в отличие от меня, мирно закончившего школу в провинциальном городке и беспрепятственно поступившего в институт, где была военная кафедра, а значит и не надо было проходить срочную службу в армии. Сана, узнав об этом, обрадовалась, я так и знала, сказала она, тебе не придется никого убивать, какое это счастье...

Я почти ничего не сумел узнать о ее прошлой жизни, рассказала только, что родилась высоко в горах, что в двенадцать лет была помолвлена, но потом была война, и все изменилось. На правой щеке у нее был шрам, который я всегда целовал, поцелуем этим утверждая, что он нисколько не портит красоты ее лица. Где и кто посмел ранить ее, об этом Сана говорить не хотела.. Она была очень стеснительна, выросшая в горах, воспитанная в строгости, она и теперь была одета, как истинная горянка. Длинное почти до пят черное платье, зеленый платок. Правда, в те дни я не думал об ее одежде, и платье, и платок, и все прочее было разбросано по стульям. Мы не включали свет, а днем не открывали занавески.

Иногда Сана замыкалась в себе, на ее и без того влажных глазах появлялись слезы. В чем причина, она не говорила, но я чувствовал, что в эти минуты не стоит ее ни о чем расспрашивать. Только один раз она на вопрос о причинах грусти она сказала:

– Ты разлюбишь меня быстро, ты ведь понял, что у меня не первый...

– Какое это имеет значение! – удивился я.

– Здесь, может быть, – сказала Сана, – но у нас в горах, меня никто уже не впустит в свою саклю...

– Зачем тебе горы, живи здесь, мы никогда не расстанемся, клянусь тебе...

– Прошу тебя, – сказала Сана, – никогда не давай клятв, мы не знаем, что принесет завтрашний день, а ты загадываешь на всю жизнь...

И чтобы смягчить свои слова, Сана крепко обнимала меня, целовала, ласково перебирала мои волосы, и когда мы растворялись друг в друге, она так вжималась в мое тело, словно кто-то невидимый хотел оторвать ее от меня, словно мы обладали друг другом в последний раз. Я читал о том, что опасность обостряет чувства, я понимал, что какая-то неотвратимая угроза висит над Саной. И если бы она мне открылась, я смог бы ее защитить, я смог бы даже умереть за нее, жизни своей без нее я уже не представлял.

Как-то среди ночи она сказала медленно, отделяя каждое слово:

– Чем ближе смерть, тем ярче мир и сильнее любовь!

И я понял, что мы испытываем одинаковые чувства.

Мы один единственный раз покинули общежитие. Нам удалось незамеченными выйти из него через запасной выход. Мы совершили ночной вояж в молодежное кафе, расположенное неподалеку от вокзала. Это было наше любимое студенческое кафе. Хозяин его был исключен из нашего института за неуспеваемость, но домой не вернулся, началась перестройка, и он открыл свой бизнес. Нажил, говорят солидный капитал, во всяком случае, сумел купить для кафе современную мебель, сделать цветные витражи и небольшую эстраду. Знаю, что капитал честным путем не наживешь, но на студентах он бизнес не строил, у него даже можно было поесть в кредит, если не было денег. Вот сюда я и привел свою возлюбленную.

На свое черное платье Сана накинула мой белый плащ, но голову все же повязала зеленым платком. Хиджаб, объяснила она, платок называется так, и нельзя обнажать

голову, особенно при мужчинах. Увидев, что я не понимаю ее разъяснений, она улыбнулась и сказала, при муже можно, а ты мне как муж. И сняла платок, когда мы вошли в кафе.

Только когда мы сели за стол и нам принесли заказанные пельмени, я почувствовал, насколько голоден и повторил заказ. Сана же почти не притронулась к еде, выпила несколько стаканов сока, и все время оглядывалась, словно опасаясь кого-то невидимого, того, кто может зайти со спины. В кафе было многолюдно. Люди заходили и выходили, бродили между столиков. Громкая музыка мешала разговору. Возможно, мы успели отвыкнуть от людского шума и суеты, и чувствовали себя, словно рыбы, вытасщенные из воды. Я сказал Сане, что мы напрасно покинули свой рай. Она ответила, что все равно пребывает в раю и ласково провела рукой по моей щеке. А потом сказала: ах, если бы на земле мы были только вдвоем. И спросила: здесь всегда так многолюдно, в этом кафе, днем тоже так? Я ответил, что днем народа не меньше, ведь рядом вокзал и наше общежитие. Подходящее место, сказала она.

Назад мы вернулись тем же путем, минуя вахтершу, сидящую у главного входа. А на следующий день, когда утром я пошел в буфет, моя Сана исчезла, не оставив мне даже записки.

Но я запомнил, что она живет в Кирьяновке, этот поселок у моря я хорошо знал, когда-то здесь был рыболовецкий колхоз, лет пять назад он разорился, но остались бесхозные суденышки, на которых наши студенты иногда выходили в залив, чтобы почувствовать прелесть морской стихии. Ошибкой было то, что мы не пошли по главной дороге, а решили сократить путь. К тому же и туман, который никак не хотел рассеиваться. Слева от нас послышались громкие голоса, потом заиграл кто-то на гармошке, чистый женский голос затянул песню про ямщика. Людей мы разглядеть не могли, но увидели крест,

плывущий в тумане. Влад вспомнил, что идет пасхальная неделя.

Мы не опасались людей, несущих крест, и оказалось, что напрасно. Когда мы вышли на голоса и стали различать в редееющем тумане их лица, то сразу поняли, что многие из них уже успели влить в себя достаточно водки. Большинство пьяных обычно добреют, лезут с объятиями. Но здесь такого не произошло. Напротив, мы ощутили на себе озлобленные взгляды и поздно поняли, что нас со всех сторон окружают. Конечно, их можно было понять, все они были, вероятнее всего, из разорившегося рыбацкого колхоза. Пожилые мужики в истрепанной одежде, один из самых задиристых был в рваной шапке-ушанке, другой, тот, что нес крест, несмотря на весеннюю погоду был облачен в овчинный тулуп. Молодые, напротив, были одеты легко, рубахи распахнуты, порванные тельняшки. Неожиданное и неприглядное зрелище являли все они. И для них мы тоже казались странными. Во-первых, чужаки, во-вторых одеты слишком по городскому, особенно их, очевидно, раздражали мои черные волосы и зеленая велюровая шляпа Стаса. Какой-то подросток даже попытался сбить ее со Стаса удилищем, но Стас перехватил его руку. Пацан завизжал. И это стало сигналом для нападения.

– Бей чурок, бей нехристей! – закричал мужик в тулупе. Одна из женщин кинулась на меня, норовя ногтями расцарапать лицо. Я выставил локоть. Из тумана выскакивали все новые и новые фигуры. Бежали с кольями, в руках одного из бежавших блеснул топор. Я понял, что нам не сдобровать. И тут Влад закричал изо всех сил, закричал так громко, что все на миг остановилось. А ну стойте, своих не признаете, какие мы нехристи! И он вынул из-под рубашки нательный крест, рванул его с цепочки и стал размахивать им. Это неожиданно спасло нас. Те, кто недавно хотели нас чуть ли

не убить, полезли брататься, мы стали обнимать и целовать друг друга.

Нас подхватили под руки, повели к навесу, где стоял длинный дощатый стол, уставленный пустыми бутылками и остатками пасхальных куличей. Тот, что нес крест, освободился от своей ноши, скинул полушубок и оказался совсем молодым парнем, почти что нашим ровесником. Несмотря на молодость, стало ясно, что здесь он верховодит. Он послал пацана-задиру в сарай, где очевидно стоял самогонный аппарат, и тот быстро вернулся с большими бутылками, наполненными мутноватой жидкостью. Нам налили по полному стакану, принесли крашеных яиц и капусту для закуски. Пришлось выпить до дна. И это расположило к нам собравшихся мужиков. Сразу видно, что свои, сказал самый старый из них, потирая клочковатую седую бороду. Известно, не чеченцы, поддержал другой старик. Тем вера не позволяет пить.

И пошел пьяный разговор, и опять объятия, и клятвы, и – ты меня уважаешь, ты пойми, да мы разве хотели, да мы просто поугагать вас думали. Разве издали разберешь, что вы русские. И пошли клясть чеченцев, что никак не могут успокоиться и все воюют, и тех кавказцев, то ли осетин, то ли азейбарджанцев, что рыбацкий колхоз погубили. Понаехали сюда, золотые горы обещали. Это уже молодой парень мне рассказывал, который, как оказалось, только на вид был молод, а здесь в колхозе считался главным, флотом колхозным управлял. Так вот, солярка стала дороже рыбы, объяснял он, в море на дальний промысел не выйти, а кавказцы стали здесь свои порядки наводить. Зачем, мол, убыточный флот содержать, надо сейнеры ваши на иголки пустить, порезать, а купить красивые яхты, устроить здесь туристическую базу, яхт-клуб, туристов в Польшу морем возить, не надо килиться на рыбалке, не надо солярку покупать, яхты под парусами пойдут, и

делать ничего не надо, только туристов обслуживать. Суда наши они продали, землю продали, никаких яхт-клубов.

Так вот, лохов учить надо, заключил бывший главный флотоводец, свой печальный рассказ.

– Они, кавказцы, нас в покое не оставили, – вмешался в наш разговор старик в рваном треухе. Сахаром торговали, только мы у них не покупали, вот они погрузили все на грузовик и съехали.

– Знаем, какой это сахар, – остановил его молодой парень в тельняшке, – гексоген, этот сахар называется, слышал, по телику передавали, дома взрывают.

– Не слушайте вы их, – сказал бывший главный флотоводец, – чего им здесь взрывать, это в больших городах еще может быть, а у нас им делать нечего...

– А не было ли среди них девушки, такой высокой, красивой, – спросил я, и тотчас осекся, заметив как настороженно уставился на меня молодой парень.

Потом он о чем-то начал шептаться с бывшим главным флотоводцем, но я не придал этому особого значения.

Хотя подозрения уже начинали закрадываться в меня. В нашем общежитии Сана появилась не случайно. Почему она искала своих земляков? Почему сбежала от них. Только ли любовь подвигнула ее остаться у меня? И я все-таки решил еще раз спросить у флотоводца про Сану, но сделать это не успел. Влад, внезапно появившийся у стола, схватил меня за руку и оттащил в сторону.

– Надо срочно уходить, – сказал он хриплым голосом. Я почувствовал, что он здорово напуган.

– Понимаешь, – продолжал он скороговоркой, – они уже за участковым позвали! И все из-за тебя.

– При чем здесь я?

– Это твоя Сана, твоя восточная царевна! Приезжала милиция сюда буквально перед нами, искали ее, она во розыске! И они думают, что мы приехали выручать ее. Они нас тоже за горцев приняли...

– Ерунда все это, - возразил я, - они ведь поняли, что мы ничего общего с кавказцами не имеем...

– Потом будешь доказывать, когда схватят. А где Стас

Я оглядел сгрудившихся у стола, там образовались отдельные компании, кричали, спорили, обнимали друг друга, никто не обращал на нас внимания. Я сказал Владу, что он напрасно паникует. И все же пошел с ним вместе искать Стаса, которого мы ни в одной из группок пьющих не увидели. Нашли мы его довольно-таки быстро. Конечно, он был среди женщин. За домом колхозного правления была вытопанная поляна, здесь было нечто вроде танцплощадки. Никто еще не танцевал, но уже привели гармониста, он несколько раз призывно растянул меха. Стас стоял возле ограды, обнимал толстую улыбчивую девушку, как раз при нашем приближении он стал с ней прощаться, что-то написал ей на клочке бумаги, видимо, адрес нашей общаги или телефон. Она его не задерживала, а напротив, похоже, даже торопила. Неужели он потерпел фиаско, подумал я, что-то не похоже это было на Стаса, наши институтские красавицы все были влюблены в него, а здесь, деревенская простушка. Стас увидел нас, быстро, не шагом, а несколькими прыжками настиг нас.

– Что, от ворот поворот? – подкусил его Влад.

– Срочно надо отчаливать, – сказал Стас. В его глазах затаился испуг, явно не расставание с толстушкой его напугало. – Бежим! – крикнул он.

Ну раз и Стас почувствовал опасность, а не только Влад, мне оставалось им подчиниться. Я, правда, предупредил, чтобы ни в коем случае не выдавать нашего испуга, и конечно, не пускаться в бег. Надо уходить по одиночке. Со мной согласились. Мы решили встретиться на окраине, там, где заканчивался редущий ряд домов.

Туман еще не совсем рассеялся, никто нас не остановил, все были заняты спорами и выпивкой. Во всю уже играла гармонь. Мой любимый вальс «Амурские волны». Зачем я

связался со Стасом и Владом, Надо было самому искать Сану, подумал я. Выехал бы раньше, застал ее. И если ее преследуют ее же родичи, я бы снял для нее комнату. Никто не нашел бы ее в большом городе. Так думал я тогда, еще не осознавая всю степень опасности, убежденный, что Сану я смогу спасти от любых преследований.

Когда я прошел вдоль ограды последнего дома, то увидел Влада, тот вырос из тумана внезапно, и сразу же крикнул: где Стас? Я ответил, что Стас шел вслед за мной. Ждем, не больше десяти минут, сказал Влад, знаю я его, вернулся к своей толстушке, он ни одной юбки не пропустит. Мы присели на придорожные камни. Решили ждать полчаса, а потом возвратиться за ним. Нельзя было одного его бросать в деревне. Ведь это я его сюда увлек. В крайнем случае пусть забирает с собой толстушку, так мы тогда решили.

Ждать нам пришлось недолго. Прежде чем мы его увидели, мы услышали топот ног и хриплые крики. Первым показался Стас, он пулей пронесся мимо нас, был он без шляпы, и длинные его волосы развевающие позади делали его похожим на девицу. Влад свистнул и только тогда Стас на мгновение приостановился и увидел нас. И в это время со стороны деревни один за другим стали прыгать через забор разъяренные парни. Нам ничего не оставалось как броситься бегом следом за Стасом. В спину нам тяжело дышали преследователи, время от времени они матерились и выкрикивали проклятия. Но в беге им было не сравниться с нами. Вскоре топот стал стихать, мы тоже замедлили свой бег и даже остановились, как только почувствовали под ногами ровный асфальт. Выбежали мы прямо к столбу, обозначавшему автобусную остановку. Но стоять и ждать было опасно, надо было уйти как можно дальше от этой негостеприимной рыбацкой деревни. Стас, приглаживая растрепанную шевелюру, все время повторял: где моя шляпа, где моя шляпа. Толком ничего от

него нельзя было добиться. Мы отошли метров на двести от остановки, когда нас нагнал автобус. И только когда мы скользнули в раскрытые дверцы дверей и уселись в пустом салоне, Стас заговорил, пусть сумбурно, но все же можно было представить, что с ним произошло.

Мы правильно подумали, что он вернулся проститься с толстушкой. Это был бы не Стас, если бы он не вернулся. Возможно, он вообще хотел остаться. Но его пассия, которую звали Люба, имя, очень нравящееся Стасу, все его предыдущие возлюбленные звались также. Люба, любушка, любушка-голубушка, часто повторял он, Да, конечно эта деревенская Люба была им очарована, но она не хотела подвергать его опасности, она схватила его за руку и быстро потащила к тайной только ей известной тропинке, которая вела к шоссе. Он пытался ей объяснить, что его ждем мы на околице. Люба ничего не хотела слушать. И пока он препирался, их заметили. Вот тогда, как он сказал, и пришлось сдавать экзамен по кроссу.

- Вы даже не представляете, парни, во что мы влипли, – сказал Стас и с укором посмотрел на меня. Конечно, я был во всем виноват. Я должен был отыскать свою любовь. В такие поиски никогда не надо вовлекать своих друзей.

- Скажи спасибо, – сказал Стас полушопотом, очевидно не хотел, чтобы услышал Влад, – скажи спасибо, что твоя Сана тебя не прирезала!

– Что ты выдумываешь! – возмутился его.

– Я тебе все объясню, – сказал Стас, – хотя сам я ничего до конца не понял, да и ты вряд ли поймешь, влюбленные всегда слепнут и ничего не хотят слышать.

– Не думай так обо мне, я ведь в первую очередь хотел бы узнать правду! – сказал я и крепко ухватил его за плечо. Он отстранился, замолчал, автобус тряхнуло на рытвине, и его лицо надвинулось на меня. В глазах у него был испуг. Он явно не хотел говорить все, о чем узнал от своей Любы.

Весь путь до города мне пришлось выпрашивать его. Вырисовывалась вот такая картина. За день до нашего

появления в деревне кавказцы оттуда внезапно съехали, буквально через несколько часов в деревню приехали милиционеры, участковый и с ними еще какой-то важный начальник, всех допрашивали, все хотели узнать, куда уехали кавказцы. И все интересовались не было ли среди них девушки. Люди деревни хоть и не любили кавказцев, но еще больше они не любили милицию. И про Сану никто ничего не сказал. Она всем в деревне понравилась эта Сана. Все ей сочувствовали. Она молчала, но улыбалась всегда приветливо. Ночевала у Любы. Эти кавказцы Сану стерегли. Ночью даже сидел у любино дома один из них. Люба узнала, что Сану они привезли сюда чуть ли не силой. Но и оставаться у себя в ауле она не могла. Её при зачистках там изнасиловали, братьев ее убили два года назад, отомстить за нее некому. И кавказцы грозили, что всем расскажут о ее бесчестии.

У них с этим строго, заключил Стас, это ни то что у нас, они, черти, не пьют, а девицы блюдут себя, только с мужем, с другим ни-ни. Так что ты был исключением. И снова повторил он, благодари господу, что жив остался.

Спорить с ним было бесполезно, сильно он был напуган. Его испуг даже передавался мне. Влад был невозмутим. Не бери в голову, сказал он. Забудь про свою царевну. Может быть, она шахидка, а может быть, просто запуталась в этой жизни. Ей нужен не ты, а человек обстоятельный, денежный и с квартирой, нельзя ей в свои горы возвращаться...

Шахидка..., они что с ума посходили от страха, подумл я. Сана – нежная, трепетная, с большими влажными глазами, созданная для любви, а не для смерти. Найти ее, избавить от всех угроз, надо расписаться – и никто ее тогда не тронет. И нельзя ее отпускать в горы. Там совсем другие законы, там террор постоянен. Это непрекращающаяся война. Столетняя война. Там кровь порождает кровь. Казалось бы все – подавили, смяли. Уже давно нет Дудаева. Дома взрывали два года назад. Теперь

прекратили. Да и взрывали в основном в столице. А у нас, в таком далеком от Чечни городе, кому взбредет в голову. И кого здесь запугивать. Какое мы имеем отношение к Кавказу. От испуга сахар принимают наши бдительные колхозники за гексоген. Сейчас все знают обо всем. Столько пишут разного, показывают. И шахидок тоже. Они мстят за убитых, да и заманивают их ловко, обещают сладкий рай. Обо всем этом я читал. Читал и о том, как в годы войны целые народы выселяли с Кавказа, обрекали на смерть. И теперь зачистки, убийства. Но это террористы. Если бы Сана решилась стать шахидкой, наверняка в разговорах наших что-либо промелькнуло, я догадался бы. Вот сейчас приедем, а она у входа в общежитие сидит на скамейке и ждет меня. Нет, там сидеть она не будет, она ведь не хотела встречи со своими земляками. Скорее всего она пошла в кафе, и там ждет меня. Сидит за столиком у дверей, чтобы сразу увидеть меня. Так хотелось мне, чтобы это сбылось, так отчетливо я все это представлял, что становилось на душу у меня тепло и ничто меня уже не пугало.

Молодая листва деревьев, стоящих вдоль дороги, белая кипень цветения, боярышник, алыча, все говорило о торжестве весны и пасхальных днях, странная у нас получилась пасха, вроде бы и отметили, и выпили, но хмеля я совсем не чувствовал. Вот уже кончилось зеленое царство, замелькали столбы, трубы, двухэтажные дома рабочих поселков. Конечная остановка была на железнодорожном вокзале, отсюда до нашего общежития рукой подать. Здесь же рядом кафе, куда ходили мы с Саной. Мне хотелось побыть одному, осмыслить события. Я распрощался со Стасом и Владом и пошел в сторону кафе, решил выпить там чашку кофе, есть мне не хотелось, просто надо было посидеть в тишине.

Но не суждено было мне в этот день найти покой. Возле кафе стояли милицейские машины, пожарная машина и машины скорой помощи. В воздухе стоял запах гари. Окна

в кафе были выбиты, осколки цветных витражей валялись на мостовой. Здание было оцеплено милицией. Милиционеры отгоняли любопытствующих. Какой-то явно перебравший чудака лез напролом. Кричал, что забыл в кафе пальто. Тебе что, жизнь не дорога, отсанавливали его милиционеры. Двое повисли на нем, но он не сдавался. Я подбегаю вплотную к милиционерам. Что случилось, стал приставать я с распросами. Отвечать мне никто не хотел. Один из милиционеров, видя мою назойливость, даже толкнул меня, и я едва удержался на ногах. Мне показалось, что я заметил студента из нашего общежития, кажется его звали Рустам, я хотел окликнуть его, но он быстро скользнул в сторону. И в это время кто-то положил мне руку на плечо, я обернулся, и увидел хозяина этого кафе, слезы стояли в его глазах. «Все пропало, все пропало, – запричитал он, – я никогда уже не смогу восстановить, у меня нет таких денег! Такой взрыв! Кто бы мог подумать. Кто бы мог подумать, что эта девица – шахидка! Ты не лезь к милиционерам, сейчас ищут того, кто мог передать сигнал для взрыва, она ведь не сама. Я слышал, как она кричала. Мне не хватило смелости, чтобы кинуться на нее, вместе со всеми я поддаюсь панике, я кинулся из кафе вместе со всеми! Когда она закричала: «Вон из кафе, все вон отсюда!» И распахнула платье, чтобы мы увидели пояс, начиненный взрывчаткой!»

У меня сразу мелькнуло – Сана, неужели она, я старался откинуть эту мысль. Но слишком многое из того, что я узнал в этот день, подтверждало мои опасения. Я стал расспрашивать, как выглядела шахидка, но хозяин кафе не мог ничего сказать определенного, лицо было почти скрыто черным платком, единственное, что он заметил большие черные глаза. Его уже допрашивали, он ничего не мог сказать определенного. Убитых не было, все успели выскочить из кафе до взрыва. Убита одна шахидка. Но никто не смог ее опознать, сказал хозяин кафе, там одно месиво, а не тело. Увезли, что собрали на экспертизу. А

если и опознают, мне что от этого, продолжал хозяин, кто возместит мне убытки. Надо было уходить, но мои ноги словно приросли к асфальту. Я слушал причитания хозяина кафе, но уже не понимал смысла его слов. Мало ли бывает восточных женщин в нашем городе, на рынке все торговые ряды заняты ими. Почему именно Сана – шахидка. Почему? Она, подарившая мне любовь, неужели она?

Одна за другой отъехали милицейские машины, уже разошлись почти все любопытствующие, уехала и машина скорой помощи. Цепь охранения была снята. Пожарники скрутили свои шланги и тоже уехали. Даже дым рассеялся. И можно было подумать, что ничего не произошло, если бы не битые стекла, хрустевшие под ногами.

Мы с хозяином кафе зашли внутрь. Все было там перевернуто. Раскиданные столы и стулья. Зияющая дыра в потолке, в том месте, где произошел взрыв. Запах вина и гари. Разбитые бутылки и везде осколки стекла. Хозяин кафе с причитаниями и оханьем стал прибираться в помещении. Я понимал, что должен или уйти, или помогать ему, но стоял в том месте, где взорвала себя шахидка, стоял, как вкопанный. Я стоял и неотрывно смотрел на бурое пятно. Кровь въелась в паркет. Пол не был покарежен. Видимо, вся сила взрыва ушла вверх, там где была дыра в потолке. Смотри, что я нашел, сказал хозяин, на его ладони лежал кулон из янтаря, кулон, подаренный мной Сане. Голова у меня закружилась. Я с трудом сдержал себя. Мне хотелось выхватить кулон. Хозяин кафе резко убрал руку за спину. Не знаю, что он подумал. Надо будет дать объявление, сказал он, тогда хозяин найдется, хотя вряд ли, вряд ли я сумею восстановить кафе, вряд ли кто-нибудь захочет приходить сюда. Проклятый мир! – заключил он.

Сославшись на головную боль, я покинул кафе. Теперь уже не было никаких сомнений. Сана взорвала себя. Проклятый мир, повторял я слова хозяина кафе. Я брел

почти наугад. Начался мелкий морозящий дождик, я не замечал его. Я никого не хотел видеть. Как случилось, что такая девушка, созданная для любви, стала живым снарядом. Почему? Ответ на насилie. Мeсть миру. Но ведь она всех оставила в живых. Она выгнала всех, прежде чем замкнула контакт на поясе. А возможно, был кто-то другой, для подстраховки, тот, кто дистанционно вызвал взрыв. Значит, она была обречена. Проклятая война. Но почему именно Сана стала жертвой? Ведь человек всегда хочет жить, хочет жить в любых условиях. Прерывать свою жизнь нелепо. И это ведь не влияние внезапного момента, не самоубийца она. Все задумано давно, задумано там, в горах, ее запугали, она знала, что должна умереть. Поэтому и любила так неистово, прощалась с миром. Я во всем виноват. Я должен был спасти ее, я мог спасти её. Любовь замутила разум. Надо было расспросить её, надо было сообразить, что она обречена, что все это происходит не только по ее воле, не только потому что она хочет отомстить, её заставили пойти на смерть. Она искала помощи у земляков в нашем общежитии, они отвергли её, ей некуда было деться, а я весь таял в ее объятиях, я наслаждался ее телом, я был безумным эгоистом. Надо было сразу броситься на ее поиски, как только она исчезла, я смог бы перехватить ее, уговорить. Прости меня, Сана, шептал я, прости, что не уберег тебя, прости весь этот жестокий мир, который не заслуживает твоего прощания.

***Олег Глушкин** живет на западе России, в Калининграде. Издал восемнадцать книг прозы. Лауреат Артиады народов России за издание антологии «Лики родной земли», премий «Признание» за роман «Саул и Давид» и «Вдохновение», за книгу рассказов «Пути паромов». Составил и издал книгу «Кровотокающая память Холокоста». За расширение контактов между российской и европейской культурами удостоен Диплома Канта.*

МАРК ВЕЙЦМАН

НЕ С ПУСТЫМИ РУКАМИ

ЭВАКУАЦИЯ

Меж глухих полустанков покуда
Эшелон, словно заяц, петляет
И безбашенный лётчик, паскуда,
Почём зря по вагонам пуляет,

Я с фольклором родным сообразно
На последнем степном перегоне
На своём Горбунке безотказном
Ухитряюсь уйти от погони...

Снег в лесу мандаринами пахнет,
Оседают, чернеет и тает,
Горбунок усыхает и чахнет,
Потому что овса не хватает.

С ним делюсь я гороховым супом
И морковкою в форме торпеды,
Потому что обидно и глупо
Умереть, не дождавшись победы.

МОЙ ДЯДЯ САМЫХ ЧЕСТНЫХ ПРАВИЛ

...И врал, и перманентно завирался,
И големов из воздуха лепил,
Но я к нему на плечи забирался,
Поскольку сомневаться не любил.

И зревшие под эти трали-вали
Во мне, не понимаю, почему,
Обратную пропорцию являли
Любовь и уважение к нему.

Всё рухнуло, когда весьма некстати
Назвался он дублёром "Спартака",
За что один крутой правдоискатель
Прилюдно наломал ему бока.

Теперь он спит в тени нерусской ели,
В суглинке субтропической страны,
И прежние понты и параллели
Ему уже и на фиг не нужны.

ПРИЗВАНИЕ

Небо голубое, мелкая криница, на заборе – кочет.
Жизнь перед тобою – чистая страница, заполняй, чем
хочешь.

Выскользнешь из дома, молодой да хваткий, как Аврам из
Ура.

А вокруг – кордоны, а окрест – рогатки, а внутри –
цензура.

Каменные рожи, истина – в ГУЛАГе, правда бездыханна.

Как добраться, Боже, при таком раскладе мне до Ханаана?

«Не ищи участия, не считай потери. В рвении упрямом
Не достигнешь счастья, так, по крайней мере, станешь
Авраамом».

НЕЗНАКОМКА В СЕМЕЙНОМ АЛЬБОМЕ

Сквозь налёт межзвёздной пыли

Смотришь, косу теребя.

Кто ты – мёртвые забыли,

А живым не до тебя.

Если к судеб мельтешенью

Тех, что канули во тьму,

Ты имеешь отношенье,
То – какое и к кому?

И согласна ль с ролью жалкой,
Несовместной с куражом,
Безымянной приживалки
В обиталище чужом?

** *

Интенсивность любви молодой
Убедительней, чем глубина.
Если полон колодец водой,
Всё равно, сколько метров до дна.

Лишь прозрачной была бы вода
И легко преломляла лучи,
И весёлая рыбка-звезда
На поверхность всплывала в ночи.

АДАМ

Вход в пещеру – подобие входа в метро,
Рядом – куща-бытовка.
Здесь Господь из меня извлекает ребро,
Говорит – заготовка.

Я не знаю покуда, что костную ткань
Мастерство костоправа
Превратит в золотую двуногую лань
По прозванию Хава,

И составим мы с ней, против Бога греша,
Что-то вроде тандема,
И за это нас тут же бессмерья лишат
И турнут из Эдема.

Но ещё не пора. И – ни зла, ни добра,
Ни соблазна, ни взбучки,
И меж скалами вьётся поток серебра,
И на небе - ни тучки!

...А когда в Баварии
Пьяный тамада
Произнёс "товарищи"
Вместо "господа",
Предъявив народу
Времени испод,
Не терпевший сроду
Никаких господ,
Серый волк тамбовский
И свинья и гусь
Поперхнулись водкой
"Киевская Русь",
А из чёрной тучи
Выпала звезда,
Словно невезучий
Птенчик из гнезда.

Когда утрачивает смысл твой режус-фактор
И атрофируется внутренний редактор,
И пленный дух освобождается из плена,
И выясняется, что море по колено,
При том, что суетная слава на подходе,
Не стоит бдительность терять на переходе, –
Полезней, вспомнив "что занадто, то не здраво",
Сперва налево посмотреть, потом направо.

Как вы мне все надоели,
Если б вы знали,

Барды тире менестрели,
Клерки-каналы,
Камнеметатели-гады,
Лжелибералы,
Рокеры, "звёзды" эстрады,
Транссексуалы,
Воду толкущие в ступе
Гении места –
С нудным создателем вкупе
Этого текста!

Фамилия, похожая на отчество,
Подобно дополнительной броне,
Твоё оберегает одиночество
Двойною принадлежностью не мне.

При чём же здесь "смиренье паче гордости",
Желание "слегка повременить"?
Всё дело в дефиците бронебойности...

Не хочешь ли фамилию сменить?

Без неистовой фантазии,
Оживляющей пейзаж,
Этих мест своеобразие
Превращается в муляж.

Сыроварни с винодельнями
И руины крепостей,
Живописные бездельники
С языками без костей.

Толкователи истории
Вспоминают про «сезам»,

А, понав на территории,
Ударяют по газам,

Наряжают сущность бедную
В экзотический наряд,
Нацепив бирюльку медную,
Золотая – говорят.

И любятя, охальники,
Сквозь подзорную трубу,
Как разбойники под пальмою
Петушат Али-Бабу.

Нырнул в морскую глубину.
Что там творится, Боже!
Сегодня точно не усну.
Видать, и завтра тоже.

Один урод другого жрёт,
Обоих – третий гложет,
И тут же новый живоглот
Судьбу его итожит.

Я рассказать ещё бы мог
О встрече с беспределом...
Но – врезать надобно замок
И смазать парабеллум.

Репатрианты
В каждой квартире,
В каждом подвале,
Словно бы карты
Года четыре
Не тасовали.

Африка снизу,
Азия сверху.
Или Европа?
Что сохранилось
Здесь на поверку
После потопа?

Вот Галилея,
Вот Иудея,
Негев, Голаны.
Можно лелеять,
Ими владея,
Дерзкие планы.

Марк Вейцман родился и вырос в Киеве. Окончил физико-математический факультет Черкасского пединститута и Литинститут им.Горького. Преподавал физику.

В 1966 году его стихотворная подборка, подвёрстанная к "Бабьему яру" Анатолия Кузнецова, была опубликована в журнале "Юность". С этого момента он и начинает отсчёт своих литературных занятий.

Вейцман – поэт, прозаик, эссеист. Автор 13 стихотворных книг (в том числе для детей и подростков), увидевших свет в Москве, Киеве и Иерусалиме, и многочисленных журнальных публикаций. Лауреат нескольких литературных премий.

Член Федерации писателей Израиля, куда репатрировался в 1996 году, и Международного ПЕН-центра.

Книга Марка Вейцмана "Следы пребывания" удостоена премии русскоязычного Союза писателей Израиля им. Давида Самойлова как лучшая поэтическая книга 2012-го года на русском языке.

ЛЕОНИД ГОЛЬДИН

СКОЛЬКО УМА СТРАНЕ НУЖНО

Америка опережает все другие страны по экономическому и научно-техническому развитию, военной мощи, политическому влиянию, гуманитарной помощи другим странам. В США больше Нобелевских лауреатов в научной сфере, чем во всем мире, вместе взятом. Американские ученые на первом месте по патентам, цитированию, здесь лучшие университеты, наиболее привлекательные для ученых, студентов и аспирантов – иностранцев, самые высокие затраты на образование, здесь издается рекордное число научной и учебной литературы.

США затрачивают на образование значительно больше, чем любая другая страна в мире. Совокупный бюджет школ, колледжей, университетов приближается к 1.5 триллионам - более чем в два раза выше расходов на оборону. Национальный долг достиг астрономического уровня, экономия затрагивает почти все сферы общественных потребностей, но сократить расходы на образование не предложит ни один политик, ни один экономист или социолог.

“РЕДНЕКИ” И ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ

Вывод кажется очевидным – американцы, должно быть, самые умные. Но по мировой статистике IQ (коэффициент интеллекта) США на скромном двадцатом месте. Согласно Мировому экономическому форуму, США на 52 месте среди 139 стран по качеству высшего образования в математике и естественных науках. Школьное образование намного отстает в сравнении с другими экономически развитыми странами. Лишь около 50% юношей и девушек, завершив школу, готовы к колледжу из-за низкого уровня чтения и письма. Согласно опросам, только 29%

американцев читают постоянно газеты (в основном таблоиды) и 42% выпускников колледжей никогда не читали книгу после завершения учебы.

Кроме IQ и образования, есть много других свидетельств отсутствия логики и рационального мышления. В книге "Это сделает вас умнее" (Harper) авторитетные авторы приводят данные общенационального опроса, из которого следует, что 40% американцев полагает, что Вселенная началась с одомашнивания собак и что человек появился на Земле менее десяти тысяч лет назад. Согласно институту Гэллопа, около 20% уверены, что Солнце вращается вокруг Земли.

С такими представлениями, конечно, можно жить, если сохранять трезвомыслие в реальной жизни. Но более проблематично убеждение многих американцев, что их страна видится миру как сияющий храм на холме и что все хотели бы жить по их образцу. Недавний международный опрос Гэллопа показал, что США на первом месте как главная угроза миру. Американцы не понимают, почему их намерения принести человечеству мир, свободу и процветание оборачиваются результатами, обратными ожиданиям.

В ряду иллюзий убежденность, что каждый может стать "rich and famous", богатым и знаменитым – стоит лишь приложить ум и старание, что перед законом все равны – и тот, кому доступны адвокаты ценой в миллионы, и тот, кто полагается на бесплатного защитника, предоставленного судом.

Американцы мало склонны к абстрактному мышлению и рефлексии. Интеллектуалы – яйцеголовые, высоколобые, высокобровые, воспринимаются как оторванные от жизни, не понимающие проблем и интересов простого народа. Отношение к ним не лучше, чем к "реднекам", необразованным обитателям глубинки.

Сенатор Даниель Патрик Майнихэн, один из самых глубокомыслящих политиков в истории страны, говорил о

тупости, доминирующей в массовом сознании. Видный историк Ричард Хофстадтер писал в книге "Антиинтеллектуализм в американской жизни" о том, как глубоко проникли в общество антинаучные, противоречащие логике взгляды.

Вот еще несколько серьезных работ: Сюзен Джакоби — "Эпоха американского антиразума", Марк Бауерийн "Тупейшее поколение"; Чарлз Пиерс "Идиот Америка"; Катран Лиу "Академический антиэлитизм"; Дэвид Маскиотра "Новая волна антиинтеллектуализма"; Рай Вильямс "Отупение Америки". Философ и писатель-фантаст Айзек Азимов писал : "В Америке есть культ невежества... Анти-интеллектуализм постоянная черта нашей политической и культурной жизни, и он питается убеждением, что при демократии мое невежество так же хорошо, как ваше знание".

Высокое образование и интеллигентная речь Обамы дали основания противникам для упреков в "элитизме", а его призывы к родителям из черных "даунтаунов" уделить внимание образованию детей вызвали бурю возмущения у тех, кому эти советы были адресованы. Обама учел урок и заговорил по-другому: "Люди с производственной квалификацией могут заработать больше, чем со знанием истории искусства". Поздно, не помогло. Черная молодежь сегодня носит майки с лого "Obama sucks". Корнелл Вест, профессор Гарварда и Принстона, огнедышащий пророк черной Америки, говорит о "президентстве Уолл-стрита, о президентстве дронов, президентстве шпионажа". И Хиллари Клинтон, примеряясь к президентству, говорит в интервью "Атлантик", что мантра Обамы и его команды "Не делать глупостей" обернулась грубейшими просчетами.

Сегодня трудно сказать, кто более недоволен президентом-интеллектуалом — левые или правые.

ВЕРИТЬ ЛИ IQ

Ранее предполагалось, что вождь племени или криминальный авторитет могут обладать таким же уровнем IQ как президент развитой страны и глава корпорации. Сегодня признают, что интеллект определяется не только генетикой, но и средой – семьей, школой, культурным ландшафтом, социальным окружением, условиями работы и быта.

Уровень IQ связан с успеваемостью в учебе, успехами в профессиональной деятельности, в особенности научной. У выдающихся ученых в точных науках IQ обычно 160-170. У гуманитариев, деятелей искусства нет такой тесной связи. Там, где наиболее успешными являются нестандартные ответы и решения, высокие тестовые показатели не гарантируют преимуществ. Ниже 70 признается умственной отсталостью, порой этот аргумент принимается во внимание в суде.

Есть великое множество исследований, сопоставляющих интеллектуальный уровень стран и народов, социальных групп. Лидируют азиаты: Гонконг- 107, Южная Корея - 106, Япония - 105, Тайвань - 104, Сингапур - 103. Далее, от ста и выше: Австрия, Германия, Италия, Нидерланды, Швеция, Швейцария, Англия, Бельгия, Китай, Новая Зеландия. США и Франция - 98, Россия - 96. Замыкают список африканские страны: Замбия, Конго, Уганда, Кения, Судан, Танзания, Гана, Нигерия, Зимбабве, Сьерра-Леоне, Эфиопия, Гвинея. Для расиста нижнее место в иерархии – свидетельство неполноценности, для либерал-космополита – доказательство, что все дело в экономических условиях и образовании.

Измерение IQ было популярным в США в 20 -е и 30-е годы, почти каждый школьник, студент знали о своем уровне. Но потом интерес упал, главной причиной было то, что расовые и этнические группы показывали большие различия. Это активно подпитывало расистские теории. Согласно многократным тестированиям, у

афроамериканцев IQ 85, у латиноамериканцев 89.

Любопытно, что у евреев – 113. Даже антисемиты обычно не отрицают их высокого умственного развития. Еврей-недоумок - почти оксюморон. Популярное утешительное объяснение антисемитизма – зависть к еврейскому уму. Но как соотносить 94 в Израиле и 115 у евреев в США, ума не приложу, вопрос для талмудиста. Возможно, роль играет характер населения Израиля, ставшего общим домом для евреев из стран разного уровня экономического и культурного развития. На вершине в иерархии IQ страны с гомогенным (однородным) населением. Еще один деликатный момент: выходит, "плавильные котлы" и "чаши с салатом", многокультурность ума народу не прибавляют.

При такой обескураживающей картине возникает много неудобных вопросов – от замысла творения, уравнивающего достоинства людей, до демократических представлений о равенстве. Либертарианцы и их кумир Айн Рэнд называют чепухой и лицемерием эгалитарные идеи, считают, что всегда и везде все решает 5% интеллектуальной элиты, и этого достаточно. Но в большую политику такие идеи не имеют допуска. Тем не менее, среди конспирологических теорий есть и такая: чтобы элите удержать власть и привилегии, самое надежное – держать массы в невежестве, а еще лучше через псевдообразование, поп-культуру и медиа дать иллюзию, что они что-то решают.

Абсолютизировать IQ и полагаться на него не стоит, но нельзя отрицать, что за сто лет после введения этого измерителя Вильгельмом Штерном в Германии, в этой области накопился огромный эмпирический материал. Единых критериев нет, но наиболее популярным является тест Ганса Айзенка, предусматривающий сто как норму и 180 как абсолютный максимум. У героев популярного сериала "Теория Большого взрыва", одаренных многознанием и быстрых разумом очаровательных

придурков, IQ выше 160.

Здравый смысл говорит, что понятия "интеллекта вообще" не может быть. Умен в своей профессии, в практических делах, дурак в семейных отношениях, в оценке широких общественных проблем – такое сочетание, как и наоборот, можно встретить на каждом шагу. Когда Эйнштейну предложили стать президентом Израиля, говорят, Бен Гурион был в панике: а вдруг согласится? Когда у людей и IQ зашкаливает, и с какой стороны ни посмотри – умен и ловок, однако может сотворить такую глупость, что диву даешься. Такие многоумные, всезнающие и понимающие мастера интриги как президент Клинтон, губернатор Спитцер, конгрессмен Винер – у всех супер-IQ – поразили не моральной ущербностью (мало кто идеализирует нравы политиков), а убогостью суждений и оценки обстоятельств, в которые себя поставили. Вуди Аллен, рефлекслирующий интеллеktуал, мастер тонкого психологического анализа, в личном поведении вел себя как законченный имбецил.

В интеллектуальных кругах США очень популярно эссе Исаия Берлина "Ёж и лиса". Берлин разделил мыслителей на две категории – те, кто смотрит на мир через одну доминирующую идею (ежи), и те, кто признают многообразие идей и общества (лисы). Берлин составил список авторов, иллюстрирующих его мысль; из русских он зачислил в первую категорию Достоевского, во вторую Пушкина. Он уделил много внимания Толстому, которого ни в какие рамки не уложишь. Хотя Берлин не назвал ни одного видного американского мыслителя (за отсутствием таковых или по другой причине), в целом Америка безусловно в сообществе лис, а Россия при всех поворотах истории тяготеет к ежам. Ныне в эпоху постмодернизма и плюрализма доминируют изворотливые лисы, но ежи-фундаменталисты все более активно противятся такому миропорядку. Мудрый Берлин никому не отдал предпочтения, но, очевидно, интеллектуальному миру

нужны и ежи, и лисы.

В нынешней России интеллектуальная звезда первой величины Дмитрий Быков. Феноменальность, реакция и память, виртуоз слова, ходячая энциклопедия, блестящий полемист, но ради красного словца поставит с ног на голову, доведет до полного абсурда чуть ли не любую тему, за которую возьмется. Оставит аудиторию в обалдении, и, наверное, сам себе поверит. Слушать, восхищаться можно сколько угодно, но строить государство или написать школьное сочинение по его видению не получится.

На Сахаровском фестивале в Греции (это в свое время был мой проект совместно с Госконцертом) Елена Георгиевна Боннэр рассказала мне такую историю. Сахаров получил очередную Госпремию, и супруги купили "Победу". Елена Георгиевна выучилась водить быстро, а Андрей Андреевич все делал не то и не так. Однажды они ехали в машине с инструктором и мамой Боннэр. Сахаров вышел из машины купить хлеб. Инструктор спросил у Боннэр : "Это чья мама?" – "Моя". "Тогда скажу: 20 лет учу водить, но такого тупого как ваш муж, еще не видел".

В новой России, где проводниками перемен были люди с репутацией интеллектуальной элиты, в конечном итоге победили чиновники, в больших талантах и идеях не замеченные, криминальные авторитеты и гопота поп-культуры.

Пока не похоже, что большой ум и знания – гарантия успеха и счастья. Большая мудрость рождает много печали, говорил Экклезиаст в Библейские времена, а в наши Губерман: "Чем у личности больше ума, тем печальней судьба этой личности". Так что если тест и не выдаст комплиментарных результатов, может, и не стоит особо расстраиваться.

ВСЕМ УМНИКАМ НА ЗАВИСТЬ

Кроме интеллекта есть немало других факторов, от которых зависит успех и благополучие: воля, ответственность, дисциплина, мотивация, амбиции, агрессия... Всего этого у американцев в изобилии. Сегодня общепринято, что наряду с IQ большую роль играет EQ - эмоциональная интеллигентность. Возможно, это не самая сильная сторона личности американца – следить за нюансами чьих-то переживаний, но строгая этика служебных отношений и политкорректность восполняют пробел.

В критике IQ самый серьезный довод, что тесты и их интерпретация, представления об уме и глупости, определяются культурой и ценностями среды. В США, скажем, small talk – разговор о погоде, хорошем ресторане, "great, wonderful" на все случаи жизни – свидетельство здравого смысла, но для большинства "наших", русскоязычных – ограниченности. Можно не сомневаться, что привычная нам душа нараспашку, прямолинейность, категоричность воспринимаются в другой культуре не только как плохие манеры, но и как показатель небольшого ума. В дискуссиях такого рода аргумент "Сам дурак" вполне приемлем. Когда Михаил Задорнов радуется соотечественников рассказами о тупых американцах, можно не сомневаться, что прошлая и нынешняя Россия с ее вечными претензиями на «особую духовность» дает куда больше оснований для сатиры. Хотелось бы, наконец, услышать ответ на вопрос: почему при таких умах и талантах Россию все время обманывают и обижают евреи, пиндосы (кто это, до сих пор не вполне ясно), коммунисты, капиталисты, иноверцы и атеисты, масоны, геи и трансвеститы, лица кавказской национальности, лица многих других национальностей... Такие экзистенциальные терзания американцам не свойственны, и это сберегает много сил и времени для более важных дел.

В США есть конкурсы на высокую сообразительность, но при широкой популярности тестов здесь есть более универсальный способ оценки личных дарований, выраженный в крылатой фразе: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" В нынешнем мире ирония здесь неуместна. В былые времена безденежные Сократы и Диогены имели авторитет вровень и выше патрициев, Гарун-эль-Рашид охотно слушал босоногих дервишей, русские цари и вельможи имели дело с юродивыми и старцами, жившими на горохе и сушеных кузнечиках. Сегодня деньги рождают власть и признание, и самые сообразительные и талантливые идут не в проповедники и профессиу, а на Уолл-стрит и в корпорации.

В США сложилась интеллектуальная пирамида и весьма рациональная социальная структура, позволяющая при многообразии интересов, при всех конфликтах и противоречиях, целенаправленно управлять жизнью страны. Образование, система мотивов и стимулов, предусматривают подготовку узких специалистов, профессионалов своего дела. Труд с предельной интенсивностью, никому не дано остановиться, расслабиться, голова забита кредитами, моргиджами, лоанами, и на широкие обобщения, рефлексию, размышления и споры о цели и смысле жизни нет ни сил, ни желания, ни времени.

"Широк человек, надо бы сузить", говорил Достоевский. В России не прислушались, а в Америке с этой целью создали индустрию ~~шринков~~ "шринков" - психологов, без которых мало кто обходится. ~~То shrink~~ "To shrink" – сузить, поуменьшить голову до нормы. Это именно то, чего требует рынок и конкуренция.

Научно-техническое первенство США в большой мере определяется массовым привлечением ученых и специалистов из других стран. Согласно Национальному бюро экономических исследований, в таких областях как

биология, химия и окружающая среда, 40% специалистов – иммигранты. В электронике, математике, медицине, фармацевтике их удельный вес еще выше. В университетах США половина студентов по естественно-научным дисциплинам – иностранцы, большинство из них останутся в этой стране. Мечта китайского школьника учиться в Гарварде и работать в американской корпорации или университете. В вузах США работает более 120 тысяч специалистов, прибывших из других стран. Каждый пятый глава ВУЗа родился не в Америке. Постоянно растет объем исследований, которые проводятся для американской индустрии, финансовых и учебных институтов специалистами в других странах. Для многих стран "утечка мозгов" серьезная проблема, в России она обрела масштабы национальной катастрофы. Из Индии выехали 40% ученых, а из США только 5.

Что бы ни говорила статистика и критики американского бытия и мышления, судя по результатам, в здравомыслии и адекватном понимании жизненных реалий нашей стране не откажешь.

ЗАТРАТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

При всех достижениях, сегодня со всей очевидностью возникает вопрос: как долго и при каких условиях США смогут удерживать лидирующее место в мире. Политические вызовы м противостояния, с которыми страна сталкивается, во многом объясняются тем, что в мире возникают и укрепляются новые центры силы, аккумулирующие экономический и научно-технический потенциал и способные успешно конкурировать с США. Все больше стран, где знающий инженер, финансист, аналитик может сегодня найти применение и заработать не меньше, чем в Америке. Механизмы санкций, которые США все чаще вынуждены применять по отношению к своим противникам, побуждают тех, кого эти меры затрагивают, все более полагаться на

собственные ресурсы, своих специалистов.

США не могут полагаться на неограниченный импорт профессионалов и на то, что глобализации будет бесконечно служить американским интересам. Поэтому и консерваторы, и либералы, пусть и при разных мотивах, признают необходимость радикальных перемен в американском образовании.

За последние тридцать лет стоимость университетского диплома выросла в 10 раз – больше чем медицинские расходы (в 6 раз) и питание (2,5). Задолженность по студенческим займам превысила триллион долларов. Расходы на школьное образование в связи с широким внедрением новых технологий стремительно увеличиваются.

Каковы результаты этих затрат и усилий? По данным американского Counsel of Foreign relations, за последние три десятилетия США перешли с первого на десятое место по уровню подготовки выпускников школ, и с третьего на тринадцатое – колледжей. Финляндия (на пятом месте) затрачивает на ученика в 7 раз меньше, и обеспечивает почти стопроцентную успеваемость.

Среди развитых стран американские школьники на 25-м месте по математике, на 17-м по естествознанию, на 14-м по чтению. 30% не оканчивают школу, и только 40% продолжают обучение в колледже. Большинство вузов вынуждены восполнять пробелы школьного образования. 75% преподавателей вузов считают, что выпускники школ не обладают знаниями и навыками, необходимыми для обучения в колледже или университете. Но и вузы далеко не всегда оправдывают затраченное время и расходы. Программы перенасыщены политкорректными курсами, многие специальности непригодны для жизненных реалий.

Атмосфера в колледжах мало способствует воспитанию цивилизованного гражданина. Пресса полна публикаций об алкоголизме, наркомании, изнасилованиях (каждая

пятая студентка имеет печальный опыт), диких нравах во "фратернитиз" (студенческие братства), "буллинг" (физическое и моральное издевательство). Большинство преподавателей – бесправные почасовики с минимальной оплатой без бенефитов, у которых нет условий для повышения собственной квалификации. Мало кто в таком статусе рискнет возразить администрации или пойти на конфликт со студентом – и то, и другое может закончиться потерей работы. Финансовое положение колледжей, как и возможность заработка для почасовика, зависит от численности студентов, поэтому поставить низкую оценку и отчислить – себе наказание.

Самые активные, способные молодые американцы редко избирают профессорскую карьеру. Их мечта – Уолл-стрит, инвестиционные фонды, СЕО (главный исполнительный директор корпорации), где возможно в кратчайшие сроки войти в 1% самых богатых, в крайнем случае, юрист, доктор. сть страны, к примеру, Франция, Германия, где профессор еще сохраняет престиж. В Союзе, будучи профессором, завкафедрой, с лекциями и публикациями, я зарабатывал больше премьер-министра. И титул вызывал уважение. На работу в университеты стремились не столько от желания послужить народному благу, сколько в силу вполне реальных преимуществ. В нынешней России профессор живет хуже мелкого чиновника или продавца бакалейной лавки. В Нью-Йорке профессор университета не снимет квартиру в Манхэттане и не сможет учить детей в частной школе, а молодой трейдер покупает дуплекс на Парк-авеню и дом в Ист-Хэмптоне.

Бесспорно, в США есть великолепные университеты и школы, где можно получить отличное образование. Но для большинства американцев элитарные учебные заведения недоступны. Частная школа стоит 30-40 тысяч в год, престижный вуз – 50- 60.

Многие молодые американцы и их родители задумываются: если нет возможности учиться в "Лиге

плюща" (8 элитарных университетов), стоит ли стремиться к вузовскому диплому. Успешная карьера с гуманитарным образованием – утопия изначально. Профессия актера, художника, искусствоведа, лингвиста, историка и все другие этого ряда – прямой путь в официанты и таксисты. Моя приятельница Франсина с дипломом Нью-Йоркского университета по классическому балету вот уже 15 лет на почасовой оплате в разных конторах, живет с руммейтами, волонтирит – учит танцам детей в мегацеркви в Бронксе. Моя бывшая студентка, одна из немногих, знающая и любящая литературу, окончила филологический факультет Колумбийского университета, и вот уже много лет единственное, что ей доступно, – надомные уроки для малышей. Плохой выбор профессии? Но вот сын соседки выучился на дантиста, у него двое детей, долг за студенческие годы под 300 тысяч. Открыл офис, опять же в кредит. Не рассчитал, обанкротился, без работы, семью кормит мама-парикмахер.

Хотя шагу нельзя ступить, не заплатив за юридическую консультацию, в нашей самой сутяжной в мире стране сегодня выпускнику юрфака трудно найти работу по амбициям. Врачи жалуются на ужесточившийся, зачастую чисто бюрократический, контроль, на непомерные расходы на юридическую защиту, бухгалтерию, офисы, оборудование, а умерить масштабы бизнеса не позволяют долги и новые кредиты. Хотя разбухший без всякой меры финансовый сектор дает пока хорошие шансы на трудоустройство, вопрос, заботящий всех – от нобелевских лауреатов до обычных граждан – сколько еще экономика сможет выживать за счет спекуляций и не кончится ли дело неодолимым кризисом.

Впрочем, ни одна сфера не может дать гарантий. Единственное, что определено – рост цен на обучение. Гленн Рейнольдс, профессор-юрист, автор книги "Пузырь высшего образования", пишет об обладателях дипломов, "которые могут оказаться в подвалах родительских домов

пока они не достигнут пенсионного возраста". Журнал "Экономист" в статье "Оправдывает ли себя колледж?" приводит данные центра Pay Scale, исследующего эффективность затрат на обучение. Судя по статистике, добрая половина колледжей не обеспечивает реальной компенсации за усилия и затраты. Более 40% выпускников не могут найти работу по своей специальности. С другой стороны, только 39% менеджеров считают, что выпускники достаточно профессионально подготовлены. Даже во время недавней рецессии и безработицы в стране было 4 миллиона вакантных рабочих мест, которые не удавалось заполнить из-за низкой квалификации претендентов. За два или даже четыре года колледж не может преодолеть упущенное в семейном воспитании и школе. Только лучшие университеты имеют возможность по-настоящему выбирать из потока абитуриентов. В прошлом году в Колумбийский университет были приняты только 7% подавших заявления. Но в большинстве случаев, если студент может получить грант, в особенности, если из числа "майорити", поступление обеспечено. Неудивительно, что конечный продукт не слишком отличается от изначального.

ДЕТИ – НАШЕ БУДУЩЕЕ

Нет школьного работника и политика, который не повторял бы эту фразу как мантру, когда нужны деньги и поддержка избирателей. От школы ждут не только знаний, но и решения самых острых социальных проблем, одоления преступности и соблазна улицы, воспитания социальной ответственности и здорового образа жизни, позитивного мышления, высокой морали и самооценки.

Джордж Буш-мл. выступил с инициативой "Ни одного ребенка позади". Обама – "Стремись к вершине". Президенты подкрепили свои идеи миллиардными субсидиями. Поначалу Обама много говорил об ответственности семьи, вспоминал свою мать, которая по

утрам до школы проверяла его домашнее задание. Но этот подход не понравился в общинах, где дети растут без отцов и матери рожают в школьные годы.

Правительство усиливает помощь школам из года в год. Недавно объявлен план обеспечить за 5 лет скоростным интернетом 99% учеников. Огромные средства предоставляют школам благотворительные организации. Билл Гейтс объявил «решающее время в образовании» и сумел инициировать технологическое перевооружение школ. Благодаря этим усилиям учебное одночасовое видео, которое стоило 400 долларов в конце девяностых, сегодня стоит 2 цента. Марк Цукерберг, создатель Фейсбука, пожертвовал 100 миллионов долларов на помощь школам Ньюарка, штат Нью-Джерси – одного из самых неблагополучных городов с рекордной преступностью несовершеннолетних. Большую поддержку школам оказал Майкл Блумберг не только как мэр, воюя с школьной бюрократией и профсоюзом, но и личными средствами. Городские школы Нью-Йорка заканчивают больше учеников, чем когда-либо ранее, и в этом его большая заслуга.

В подходе к образованию, как, пожалуй, и в любом другом случае, американцы верят, что ключ к решению всех проблем – больше денег, все остальное приложится. Но школа – особый организм, как никакой другой связанный с состоянием общества, его моралью, ценностями, способом бытия. Американцы с юных лет – прагматики, их воспитывают не мотивационные лекции, а жизненные реалии.

В послевоенные годы большинство американцев имело возможность пополнить ряды среднего класса – со стабильной работой, возможностью обеспечить семью, обзавестись собственным домом, не влезая в непомерные долги и не рискуя банкротством. Условием приобщения к среднему классу была личная ответственность и добросовестная профессиональная подготовка. Те, кто

пренебрегал этими требованиями, оказывались в явно проигрышном положении.

Сегодня положение другое. Средний класс из года в год утрачивает позиции, число имеющих постоянную работу снижается, зарплата не растет, расходы растут. Отработав до пенсионного возраста, "средняк" часто оказывается в худшем положении, чем тот, кто провел жизнь на велфэре, подрабатывал за кэш и дождался субсидированной квартиры и бесплатной медицины. Тинейджера из даунтауна, торгующего сигаретами россыпью и «фравой», денно и ночно в веселой дружеской компании, трудно убедить в преимуществах комьюнити-колледжа, после которого он будет зарабатывать меньше, чем сегодня, и не получит социальной помощи. Что может сделать школа, какие стимулы и мотивы будут работать в таких условиях? Всегда ли виновата школа, если в том же классе, у того же учителя ребенок-азиат из иммигрантской семьи, начинавший с изучения английского алфавита, сегодня круглый отличник, не имеет проблем с дисциплиной и поступает в элитный вуз?

ПЛЮС КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ

Сегодня около 8 миллионов студентов американских колледжей учит один или больше курсов онлайн. Для многих это удобнее, и преподавание лучшего качества. В большинстве школ компьютер, "активная доска", смартфон стали неотъемлемой частью обучения. Дети привыкают к компьютеру с 5-6 лет. Прогресс в математике очевиден, в чтении пока менее заметен.

Новая особенность – глобальное обучение. Вебсайт "Математика" используется учениками в Англии, Новой Зеландии, Пакистане, Саудовской Аравии, Гонконге. Он стал популярен и в США. В десятках стран ученики и преподаватели используют отличный вебсайт "Learn Russian".

Но самая главная примета времени – ведущие

корпорации, Силиконовая долина смотрят теперь на образование не только как на сферу благотворительности, но и рынок стабильных доходов. Производство электроники, ее обслуживание и бесконечное число программ обучения стали источником постоянно растущих прибыли и занятости. Лозунг дня – больше компьютеров и новых программ, кто не с нами – отстал от жизни, ретроград, противник прогресса. Мощнейшее лобби индустрии образования, пожалуй, единственное, у которого нет противников.

Изначально предполагалось, что электроника позволит обуздать стремительный рост обучения, загоняющий в банковскую кабалу, лишаящей возможности продолжить образование. Но, напротив, цена растет, и предела здесь нет. Если и существует более дешевая программа, предлагать ее, так же как более доступное по цене лекарство, невыгодно. Но продукты фармацевтики проходят строгую проверку, а технология обучения бесконтрольна. Администрация может списать все упущения на недостаток новой технологии, учителю легче и удобней занять класс увлекательным видео. Пока всех устраивает.

Вместе с тем, возникает все больше сомнений, всегда ли компьютер может полноценно заменить живое общение с преподавателем и соучениками. О традиционной лекции речь уже не идет – ученикам и студентам трудно удержать внимание на десять минут. И до компьютерной революции американский ребенок проводил до 7 часов у экрана, теперь он весь день не отрывается от визуального образа и текста. Внимание постоянно рассеивается на "мультиактивность". Книга и рукопись давали значительно лучшее запоминание, больше стимулировали самостоятельное мышление. Перегрузка новой технологией напрямую ответственна за ADHD (дефицит внимания и гиперактивность), за появление неврозов, расстройства сна, депрессии, обеднения речи и

эмоциональной жизни. Интернет поставляет обилие насилия, сексуальных извращений. Наиболее популярная тема поиска – порнография. И при больших стараниях трудно оградить ребенка от этого "просвещения".

Остановиться, оглянуться, выслушать другие голоса нынешняя атмосфера не позволит. Техноиндустрия и компьютерный планктон в офисах убеждены, что будущее принадлежит им. Лет 30 назад великий мудрец, каббалист, переводчик и комментатор 62 томов Талмуда Адин Штейнзальц без какой-либо иронии сказал, что в нынешнем мире самая мощная и влиятельная религия – Голливуд. Сегодня эту роль приняла на себя технология. Миссионеры повсюду, и у каждого в руках новый электронный молитвенник. Образ бытия и мышления современников определяется этой религией больше, чем любой другой идеологией и моралью. Еретиков, отступников, сомневающих она не пощадит. Новый смелый мир уникально подтвердил старое наблюдение: нет ничего прибыльнее, чем создать новую религию. И горе тем, кто на нее покушается.

В начале нового семестра мой коллега по колледжу, молодой преподаватель-гуманитарий, предложил вообще отказаться от книг. Идея витает в воздухе и овладевает массами, и даже старшие коллеги, защищенные пожизненным контрактом, не осмелились возразить.

Когда речь идет о технологии, свобода слова, академическая свобода заканчиваются. Не только работы не сохранишь – все коллеги отвернутся. Друзья, если останутся, предложат смотреть реально на жизнь, не донкихотствовать. Может быть, и не стоит бросаться на амбразуры. Уже сегодня ясно, что никаких ресурсов не хватит оплачивать нынешнюю революцию в образовании и ее последствия. Если дело пойдет так и дальше, обучающая технология обанкротит страну еще быстрее, чем "социал секьюрити и Медикэр". Когда взорвется

очередной многотриллионный пузырь, очереди в библиотеки и эпистолярный стиль не возродятся, но люди не будут жить как приставки к компьютеру.

Прогноз: через 10-15 лет самые дорогие элитные учебные заведения будут заманивать студентов живыми преподавателями, способными к рассуждениям и грамотной речи, если, конечно, таких преподавателей можно будет отыскать.

Леонид Гольдин – философ, социолог. Окончил Московский университет, где защитил кандидатскую и докторскую диссертации по философии. Тридцать лет заведовал кафедрами в академических и учебных институтах Москвы. Автор и соавтор 14 книг, нескольких сот статей. 20 лет преподаёт в Нью-Йорке. Организовал Русско-Американский центр общественного мнения, в котором 10 лет был президентом.

ЮРИЙ СОЛОДКИН

ГАОН

Он родился в местечке под Вильно в декабре 1922 года. По семейному преданию, услышанному от матери, они были потомками Виленского Гаона, одного из выдающихся духовных авторитетов ортодоксального иудаизма. Гаон в переводе с иврита означает гений. Не знаю, был или не был на самом деле знаменитый раввин его предком, но Семён Владимирович с гордостью показал мне портрет Гаона, висящий у него в кабинете. Сам он никогда не был религиозным человеком, но со временем удостоился газетной публикации, озаглавленной «Гений среди нас», что в обратном переводе на иврит прозвучало бы как «Гаон среди нас». Однако до этого «со временем» был долгий путь, полный удивительных событий и свершений.

Семья Скурковичей едва сводила концы с концами. Шесть детей мал мала меньше, мать, с утра до вечера хлопотавшая по дому, и отец - сельский счетовод, получавший мизерную зарплату. Жили впроголодь, и когда представилась возможность по вызову родственника эмигрировать из буржуазной Литвы в новую страну под названием СССР, сулившую всем обездоленным счастливую жизнь, семья, ни минуты не раздумывая, переехала в Москву. Ютились в одной комнате в коммунальной квартире. Семён вспоминает, как в раннем детстве всё время хотелось есть. Он подружился с соседским мальчишкой, и его мать иногда угощала супом худющего приятеля своего сына. Вкус этого супа Семён помнит всю жизнь и признаётся, что ничего более вкусного никогда не ел.

Нужда заставила отдать Семёна и его старшего брата в детский дом.

- Это был еврейский детский дом, - сказал Семён Владимирович.

- Неужели детей делили на евреев и неевреев?
с недоумением спросил я и услышал удивительную историю.

Отмена черты оседлости, гражданская война и жилищные трудности в Москве вызвали волну еврейского переселения в Подмоскowie. Уникальное еврейское местечко образовалось в Малаховке, и там в 1919 году была организована трудовая школа-колония для беспризорных еврейских детей. Некоторое время в Малаховке жил Марк Шагал и преподавал рисование в школе-колонии. Об этом времени он вспоминает в книге «Моя жизнь»: «Несчастливые дети, сироты, забытые, запуганные погромами, ослеплённые сверканием ножей, которыми резали их родителей, и вот их-то я учил живописи».

Таких детей оказалось довольно много, и для них выделили дополнительно в самой Москве старинный особняк, брошенный хозяевами после революции. В этом детском доме и оказался Семён Скуркович со старшим братом.

В большой гостиной, в которой играли дети, стоял рояль. Шестилетний Семён подошёл к нему, поднял крышку и начал нажимать на чёрно-белые клавиши. Звуки заворожили его. Каждая клавиша звучала по своему, а некоторая их последовательность напоминала мелодии слышанных песен. Семён каждую свободную минуту бежал к роялю. Не зная нот, не имея представления о диезах и бемолях, Семён подбирал музыку, которую слышал. Пальцы послушно перебирали клавиши, а дети и воспитатели с изумлением слушали знакомые мелодии в исполнении малыша-самоучки. В семь лет, вспоминает Семён Владимирович, он играл по слуху отрывки из Первого концерта Бетховена для фортепиано с оркестром.

Детей нередко водили на спектакли в ГОСЕТ – Государственный Еврейский Театр. Эти посещения врезались в мальчишескую память на всю жизнь. После спектакля к детям выходил сам Михоэлс и беседовал с ними. Ему представили талантливого малыша. Великий актёр взял его на колени и спросил, кем он хочет быть. Малыш растерялся. «Музыкантом?» - помог ему Михоэлс. «Да!» - выпалил малыш, и Михоэлс, вспоминая Семён, что-то ещё сказал про открытые перед ним все дороги и пожелал исполнения его мечты.

Семья потихоньку обустривалась. Отец теперь назывался не счетоводом, а бухгалтером. Мать тоже окончила бухгалтерские курсы и начала работать. Они забрали детей из детского дома. Семён к этому времени уже приобрёл репутацию музыкального вундеркинда. Он выступал на детских праздниках, а однажды его даже пригласили в Радиокомитет, где он играл в какой-то музыкальной передаче.

Редактором этой передачи оказалась ученица Елены Фабиановны Гнесиной, известной пианистки и не менее известного педагога, одной из знаменитых сестёр Гнесиных. У редактора возникло желание показать одарённого мальчика своему педагогу.

Елена Фабиановна сыграла небольшой пассаж и попросила Семёна повторить сыгранное. Тот без труда повторил. «Неплохо, - похвалила педагог. - А попробуй повторить ещё такую композицию», - и она сыграла более сложную и длинную музыкальную пьесу. И её Семён повторил, продемонстрировав не только удивительную музыкальную память, но и технику исполнения, которой его никто не обучал. Талант был несомненный, и Елена Фабиановна сказала, что мальчика необходимо учить музыке, что у него есть все данные для того, чтобы стать выдающимся музыкантом.

Сказать легко, но дома у них не было и быть не могло инструмента, а в школу надо ездить на двух трамваях с пересадкой. Родителям пришлось смириться с тем, что нет возможности обучать сына у знаменитого педагога. Но в музыкальную школу неподалёку от дома он поступил и приходил туда не только на занятия, но и просто поиграть для души на школьном пианино, в чём ему, спасибо большое, не отказывали. А когда семья, наконец, смогла взять напрокат пианино с небольшой ежемесячной оплатой, счастью мальчика не было предела.

Завод, на котором работали родители Семёна, имел свой клуб с различными кружками художественной самодеятельности. Семёна, о музыкальных способностях которого было хорошо известно, часто включали в концертные программы. Он исполнял популярную музыку на фортепьяно и радовался бурным аплодисментам зала. Память сохранила, как в клубе в связи с каким-то событием принимали Председателя ВЦИК М. И. Калинина, и Семён сыграл для высокого гостя «Интернационал», чем умилил до слёз «всесоюзного старосту».

Был в клубе духовой оркестр. Семёну почти в шутку предложили, не хочет ли он научиться играть на трубе. Семён попробовал. Ему понравилось, и он довольно быстро освоил трубу, став полноправным оркестрантом. Он не только играл туш при вручении наград и марши на демонстрациях, но участвовал с оркестром в похоронных процессиях, за что получал небольшую плату. Подрабатывал он также в соседнем кинотеатре, куда его приглашали в качестве тапёра, когда демонстрировали немые фильмы. Заработок хоть и небольшой, но всё-таки вклад в худой семейный бюджет.

Наступила пора решать, куда пойти учиться после школы. Казалось бы, явные музыкальные способности, какие могут быть сомнения! Очень хотелось самому

сочинять музыку, стать композитором. Но у Семёна была ещё одна мечта.

Однажды в журнале «Пионер» он прочитал популярную статью об ожоговой болезни. В ней говорилось о том, что после ожога в коже возникают ядовитые вещества – токсины, от которых, если ожоги значительные, человек погибает. И у Семёна возникает честолюбивое желание найти, когда вырастет, способ лечения ожогов, победить токсины и заслужить благодарность всего человечества. Это желание не исчезло к моменту окончания средней школы. Некоторое время Семён колебался в выборе между музыкой и медициной. Но в итоге юное дарование самонадеянно решило, что композитором, не обучаясь специально, стать можно, а вот врачом наверняка нет.

Войну Семён встретил студентом Второго Московского медицинского института. Учился он неистово и отлично успевал по всем предметам. После занятий вместе с однокурсниками работал санитаром в госпитале, а ночью дежурил на крышах домов и тушил зажигательные бомбы, которыми немцы забрасывали столицу. Тогда Семён и получил свою первую награду – медаль «За оборону Москвы».

В 1943 году, закончив институт по ускоренной программе, лейтенант медицинской службы Скуркович получил назначение старшим врачом 366-го танкового полка 3-его Украинского фронта. «Старшим врачом» звучало условностью, поскольку в ПМП (передвижном медицинском пункте) он был единственным врачом, и в его подчинении было несколько санитаров.

Однажды Семён уговорил, отваги было через край, чтобы автоматчики, сопровождавшие танки, взяли его с собой в атаку. Ему выдали автомат, и он вместе с другими автоматчиками ринулся в бой. Из боя вышел целым и невредимым, даже получил за этот бой орден Красной

Звезды, но при этом и строгий нагоняй от командира полка за nepозволительную самодеятельность. Как можно бросить ПМП? А раненые?

В танковом полку к Семёну в ПМП после каждого боя приносили обожжённых танкистов. Они выскакивали, если успевали, из горящих машин, объятые пламенем, и катались по земле, пытаясь затушить огонь. Они дико кричали от боли. Прикосновение к обгоревшей коже приводило к болевому шоку. Обгоревшие лица вызвали глубочайшее сострадание, а он бессилён был им помочь. Семён помнил, как в далёком детстве он мечтал найти способ лечения ожогов. Эта мечта привела его в медицину. Теперь она становилась осознанной целью. Он уже врач и многое понимает, но придётся подождать, когда кончится война.

А что музыка? Оставила ли она, наконец, врача Скурковича в покое?

- Музыка не оставляла меня ни на минуту, - признаётся он. - В голове постоянно звучали какие-то мелодии, услышанные или вдруг возникшие как бы сами по себе...

- По ходу наступления, - продолжает он вспоминать, - мы часто останавливались в домах, где был рояль или пианино. Про моё умение играть всем было известно, и меня тут же тащили к инструменту. Набивался полный дом, и я часами играл, импровизировал, сопровождал нестройному хору голосов, поющему полюбившиеся песни. Мои друзья Гоша Беленький и Миша Вилькин написали стихи, а я музыку нашей полковой песни «Гвардейское знамя».

Дважды Скуркович был ранен. Первый раз - на австро-венгерской границе. Снаряд разорвался рядом с ним. Его нашли на краю воронки, без сознания, присыпанного жуткой смесью земли и крови. Санитары отложили его в кучку убитых. Но тут неподалёку оказались ангелы-спасители в лице двух офицеров. Один был украинец, другой русский.

- Дывысь-ка, у нього ще кров бижить струмком.
- Слушай, так если мёртвый, кровь вроде бы не должна бежать.

Контузия была тяжелейшей, но обошлось без серьёзных ран. Подлечившись в госпитале, Семён вернулся в свой полк.

Второе ранение случилось под Веной. На этот раз пуля пробила мягкие ткани бедра, не задев кость. Повезло! Даже госпиталь не понадобился. Несколько перевязок, немного похромал - и всё.

Военврач Семён Скуркович получил, кроме упомянутого ордена Красной Звезды, ещё орден Отечественной войны 2 степени. К медали за оборону Москвы прибавились медали за освобождение Белграда, за взятие Будапешта и Вены, наконец, долгожданная медаль за победу над Германией.

После окончания войны Семён уже в чине капитана медицинской службы почти два года прослужил в оккупационных войсках в румынском городе Констанца.

В 1947 году капитан Скуркович демобилизовался и вернулся в Москву, имея удостоверение инвалида войны. Москва произвела на него тяжелейшее впечатление. Она ещё не оправилась от войны. Пенсии, которую он получил по инвалидности, едва хватало на полуголодное существование. Ему было трудно понять, почему в побеждённой Румынии люди жили лучше, чем в победившей России.

Ещё не устроившись на работу, он решил написать письмо знаменитому композитору Сергею Прокофьеву. Музыка всегда в нём звучала. Он записывал её с надеждой, что его музыку оценят профессионалы. И вот он пишет письмо признанному музыкальному авторитету, вкладывает в это письмо ноты сочинённой им скрипичной пьесы и с наивностью, свойственной творчески одарённым людям, ждёт ответа маэстро с оценкой своего «шедевра».

Случилось почти невероятное, и знаменитый композитор не просто ему ответил, а пригласил в гости. В назначенный день и час Семён явился по указанному адресу.

После взаимного «здравствуйте» Прокофьев без лишних слов пригласил гостя к роялю и предложил ему сыграть что-то из его сочинений. Семён сыграл и с нетерпением ждал, что же скажет мастер. А тот, никак не выразив своего отношения, предложил выпить по чашке чая. На столе уже стояли красивые чайные чашки, а рядом печенье, конфеты и ещё какие-то сладости. После недолгой паузы Прокофьев отечески улыбнулся:

- Ну что ж, у вас явный музыкальный талант и вполне обоснованная тяга к сочинительству. А чем занимались до армии?

- Я врач, закончил Второй медицинский.

- Замечательная профессия. Но нельзя быть кем-то и ещё композитором. Это требует полной самоотдачи. Более того, если вы долго не сочиняете музыку, дар сочинительства может ослабеть и даже совсем исчезнуть. Поэтому решайте. Но если выберете музыку, приходите, и я возьму вас в свои ученики.

Очень лестно было Семёну получить высокую оценку всемирно известного композитора, но медицина опять взяла верх. Однако Семёна Скурковича не привлекает карьера практического врача. Он хочет заниматься только научно-исследовательской работой, но получить её не так просто. Ещё не определившись, Семён много времени проводит в Медицинской научной библиотеке. Он следит за последними новинками в медицине, генерирует собственные идеи, и мысль найти такое место, где он придётся ко двору со своими идеями, не оставляет его.

И...да здравствует Его Величество Случай! В большом фойе библиотеки, где на короткий отдых от изучения научной литературы собирались медики, Семён разговорился с молодым хирургом, бывшим фронтовиком.

В разговоре Семён поделился, что ищет работу, и новый знакомый сказал, что в Институте гематологии и переливания крови профессор Н. А. Фёдоров ищет молодых и перспективных сотрудников. Семён тут же вспомнил, что этот профессор был ассистентом кафедры, когда Семён, ещё учась в институте, занимался на этой кафедре студенческой научной работой.

Профессор Н. А. Фёдоров принял Скурковича очень радушно. В его лаборатории, прямое следствие войны, трудились, в основном, пожилые женщины, и он нуждался в молодом энергичном сотруднике. Семён Скуркович начинает работать врачом-лаборантом. Зарплата, конечно, одно название, но плюс пенсия по инвалидности и пока отсутствие семьи позволяют относительно сносное существование. Главное - у него теперь интересная и увлекательная работа.

Через короткое время он получает тему кандидатской диссертации. Работает с утра до вечера с полной отдачей и послеуспешной защиты диссертации в 1950 году становится кандидатом медицинских наук.

Интенсивная работа продолжается, и пять лет спустя, ему всего 33-й год, Скуркович завершает работу над докторской диссертацией. Молодой и перспективный доктор наук получает звание профессора. Через некоторое время его группа выходит из-под крыла профессора Фёдорова и получает самостоятельный статус лаборатории иммунологии.

Известный рентгенолог, профессор Э. Новикова в своей автобиографической книге «Рентген моей жизни» тепло вспоминает «советы молодого, талантливого и очень смелого, искреннего, независимого учёного проф. Скурковича Семёна Владимировича». Один из таких советов последовал от него, когда она подыскивала сотрудника в свою группу: «Сотрудников надо выбирать очень осторожно, узнать всё о них. С женой или мужем можно разойтись, если они не подошли друг другу, а от

сотрудника плохого, склочного в условиях советской власти избавиться очень трудно».

Хорошо понимал Семён Владимирович окружающую действительность. Знал он и то, что отсутствие партбилета является серьёзным препятствием для успешной карьеры. Тем не менее, каждый раз, когда ему предлагали вступить в партию, он искренне и убеждённо объяснял, что очень серьёзно к этому относится и должен ещё работать над собой, чтобы быть достойным. Так и не стал никогда членом КПСС.

Что же это были за научные исследования, в которых Семён Скуркович получил выдающиеся результаты и мировое признание?

Помните вопрос, который мучил Семёна ещё в детстве? Почему при небольших ожогах организм справляется с бедой, а большие обожжённые поверхности кожи приводят к гибели? Есть ли возможность помочь организму в борьбе за жизнь?

Семён Владимирович начинает меня просвещать:

- Охраной нашего здоровья занимается иммунная система. Она производит лимфоциты и некоторые другие клетки, которые циркулируют в крови и готовы сразиться с инфекцией в любом месте организма. Это врождённый иммунитет. После иммунизации антигеном...

- Стоп, - прерываю я, - услышав новое для себя слово «антиген». - Не забывайте, Семён Владимирович, что я не иммунолог и не врач, и мои познания в иммунологии носят самый общий характер.

- Поясню. Вы наверняка знаете про микробы, вирусы, грибки, опухолевые клетки. Добавим ещё трансплантаты, которые сейчас сплошь и рядом пересаживают от одних людей к другим. Всё это носители чужеродных для нашего организма веществ, названных антигенами. Попадая в наш организм, они вызывают иммунную реакцию. Если

побеждает иммунная система, организм продолжает здравствовать, если нет, увы... Ясно?

- Пока да.

- Тогда продолжаю. После иммунизации чужеродным антигеном победившая иммунная система сохраняет о нём память. Это уже приобретённый иммунитет, и при повторной атаке тем же антигеном иммунная система уже имеет готовые антитела, чтобы отразить атаку без промедления. Болезнь может не возникнуть вообще или будет протекать не так тяжело.

Доктор Скуркович обратил внимание на то, что люди, перенесшие первый ожог, повторный переносят намного легче. Это означает, что после первого ожога возникает приобретённый иммунитет. Кровь уже содержит антитела после ожогового токсина. Если такую кровь использовать для приготовления сыворотки и вводить эту сыворотку больному, впервые получившему сильные ожоги, то следует ожидать лечебный эффект. Клиническая проверка показала, что всё обстоит именно таким образом. Результаты были опубликованы и сразу привлекли внимание. Их повторили во многих ожоговых центрах, и сообщения об этом в медицинских журналах свидетельствовали о высокой эффективности сыворотки Скурковича.

Профессор Н. А. Фёдоров в 1956 г. полетел в США, в Бостон на Всемирный ожоговый конгресс с докладом по иммунотерапии ожогов. У научного сотрудника его лаборатории Семёна Скурковича и вопроса не возникало, почему не он летит на конгресс докладывать результаты своей работы. Молодой, беспартийный да ещё с «пятой графой» в паспорте. Какая может быть заграница, тем более, США!

Доклад Фёдорова вызвал восторженную реакцию коллег, и Семён Скуркович искренне радовался тому, что о его работе узнали учёные и врачи из разных стран.

Приведём один из ярких примеров успешного использования противоожоговой сыворотки. Семён Владимирович получил из Штатов отгиск статьи с описанием лечения детей, получивших ожоги во время пожара в детском приюте. В статье были фотографии обожжённых детей до и после лечения. Лечебный эффект был убедителен, а ссылка на то, что это достижение советских учёных, вызывала законную гордость...

Сейчас, много лет спустя Семён Владимирович говорит о том, что иммунотерапия ожогов имеет перспективы развития, так как современные методы позволяют выделить ожоговый токсин, на его основе сделать вакцину и иммунизировать пожарных и всех тех, кто подвержен риску получения ожогов. Это значительно уменьшит потребность в антиожоговой сыворотке, получение которой от людей, перенесших ожоги, связано со многими трудностями. Свою работу по иммунотерапии ожогов Семён Владимирович считает незаконченной. Научные исследования должны быть, по его мнению, продолжены. Особенно это актуально в связи с возросшей опасностью лучевых ожогов.

- Исполнилась ваша детская мечта помочь человечеству в борьбе с ожогами.

- Да, такое ощущение, что это было предназначено судьбой. После этого было много других научных исследований, но наиболее важным считаю создание препарата против стафилококков.

Главная идея всё та же - лекарство должно помогать иммунной системе. Не конкурировать с ней, это безуспешное, а порой и вредное занятие, а именно помогать.

После серьёзных травм и ранений, после сложных хирургических операций, когда организм существенно ослаблен, самую большую опасность для него представляют микробы, называемые стафилококками. Они

могут вызвать сепсис, в быту известный, как заражение крови. Процесс лавинообразный, и если его не остановить, летальный исход неизбежен. А остановить можно только быстрой и эффективной помощью иммунной системе. Одно время помогали антибиотики, но зловередные микробы, умеющие приспосабливаться, перестали на них реагировать.

Выдающимся достижением проф. С. В. Скурковича и его сотрудников явилось создание антистафилококковой плазмы и гаммаглобулина (иммуноглобулина).

Идея проста - больному необходимы препараты, приходящие на помощь иммунной системе и целенаправленно уничтожающие стафилококки. Откуда их взять? Произвести их может только сама иммунная система живого организма. Но не заражать же его специально и ставить жизнь под угрозу! Казалось бы, замкнутый круг. Но на то и учёные, чтобы найти выход.

Посеять и вырастить культуру стафилококков нет проблем, но затем её ядовитые и сильно действующие токсины надо удалить. После этого из микробов и токсинов нужно приготовить стафилококковую вакцину и иммунизировать здоровых доноров. В крови доноров вырабатываются защитные вещества - белки гаммаглобулины. Далее из крови доноров выделяются нужные фракции, и препарат готов.

За каждым шагом стоит сложный и тонкий технологический процесс, и доктор Скуркович с коллегами получил несколько авторских свидетельств на способы получения антистафилококкового гаммаглобулина.

Работа по созданию нового средства для борьбы со стафилококками, нечувствительными к антибиотикам, завершилась в начале 60-х, а в конце тех же 60-х в СССР, особенно, в Москве и ряде других городов, вспыхнула настолько сильная эпидемия стафилококковой инфекции, что её назвали «стафилококковой чумой». Нечувствительные к антибиотикам стафилококки

свирепствовали в родильных домах и больницах. Умирили новорожденные, летальный исход после операций принял угрожающие размеры. Родильные дома и больницы закрывались одни за другими.

Министр здравоохранения издал приказ об изготовлении препарата Скурковича, но производство раскручивалось очень медленно, а люди умирали и умирали. То и дело самому Семёну Владимировичу приходилось принимать участие в спасении людей, используя наработанные в лаборатории препараты. Особенно он радовался, когда удавалось помочь детям.

В самой главной советской газете «Правда» появились друг за другом две статьи: «Атакующий микробы» и «Схватка с невидимками» - об успехах лаборатории проф. С. В. Скурковича. В Советском Союзе это означало высшую степень признания. Был снят научно-популярный фильм. О чудодейственном средстве узнала вся страна.

Семён Владимирович вспоминает пятимесячного Толика из Саранска. Профессор Скуркович получил телеграмму-мольбу от его родителей: «Спасите нашего ребёнка!» Малыш погибал от пневмонии, вызванной стафилококковой инфекцией. Антибиотики не помогли. Медицина оказалась бессильна. Родители прилетели с ребёнком в Москву. Его поместили в клинику и тут же сделали инъекцию нового препарата – желтоватой жидкости из пластикового мешочка. Эффект нельзя назвать иначе, чем чудом. На следующий день после инъекции ребёнок, измождённый болезнью, впервые спокойно уснул. Ещё через день он начал улыбаться. Нетрудно представить, какие слова говорили Семёну Владимировичу родители спасённого ребёнка. Для них он был посланцем Бога, дарующим жизнь.

Помнит Семён Владимирович, как к нему однажды обратился бывший в то время первым заместителем Председателя Совета Министров СССР Н. А. Тихонов с

личной просьбой помочь ребёнку, у которого стафилококковый сепсис. Его родители, которых он хорошо знает, позвонили из Парижа, где находятся в командировке, и умоляют спасти их малыша. «Сделайте всё возможное. Если что-то нужно, обращайтесь, не стесняясь, к моему помощнику».

Ребёнок был спасён, а Семён Владимирович по просьбе директора Института, решившего воспользоваться ситуацией, позвонил помощнику и пожаловался, что очень медленно строится новый корпус их научного учреждения. На следующий день по этому поводу было совещание в Моссовете, а ещё через день множество людей и строительных машин заполнило стройплощадку.

Успех безоговорочный. Чувство удовлетворения научными результатами полное. Но жизнь - не только работа. Говорят, что счастлив тот человек, который утром с удовольствием идёт на работу, а вечером с удовольствием возвращается домой. Семён был таким счастливым человеком.

В 1950 году он женился на Мине, враче-вирусологе из Института полиомиелита. Через год родилась дочь, а ещё через четыре года сын. Оба со временем к радости родителей стали врачами.

И музыка, как бы он ни был занят на работе, продолжала в нём звучать. Вот что он сам говорит об этом:

- С моей точки зрения музыка и наука - это проявления одного и того же интеллекта. Я отношусь к музыке со страстью и любовью, а к науке - с любовью и страстью. Ибо счастье определяется не тем, что ты имеешь, а тем, как ты себя чувствуешь в этом положении. Однажды поделился этим со своей женой - может, лучше стал бы я композитором, писал бы оратории, симфонии, оперы, на которые, казалось, хватило бы сил, и был бы счастлив. И знаете, что мне сказала Мина? «Будь ты музыкантом,

жалел бы, что не стал учёным!» Музыка способна лечить души, но не физические недуги.

Когда оставалось хоть немного свободного времени, музыка вступала в свои права. Сочинённый Семёном Скурковичем концерт для фортепиано с оркестром был с успехом исполнен в Московском Доме учёных в 1977 году пианисткой Л. Казанской и оркестром под управлением Л. Грина. Бурные аплодисменты, нескрываемое удивление и похвальные слова о музыке были очень приятны автору. Известный учёный, доктор наук да ещё композитор!

Улыбаясь, Семён Владимирович вспоминает, что секретарь Союза композиторов Тихон Хренников лично распорядился ежегодно выделять С. В. Скурковичу путёвку в Дом творчества композиторов «Руза», расположенный в одном из самых живописных уголков Подмосковья.

- Семён Владимирович, - возвращаю его к разговору о дальнейших иммунологических исследованиях. - Насколько мне известно, кроме успешной борьбы со стафилококками, у вас есть ещё немало достижений, которыми можно гордиться. При этом многие исследования начались ещё в Москве и были успешно продолжены в США.

- Невидимых врагов у живого организма великое множество, и приходится удивляться не только изощрённому коварству агрессоров, но и изумительной стойкости и находчивости иммунной системы, спасающей жизнь. Но иммунитет, увы, начинает работать с задержкой во времени, которая может оказаться губительной для организма. Как помочь иммунной системе? Этот вопрос не оставлял меня всю жизнь. Со стафилококками более или менее понятно, а что делать с армией вирусов, атакующих организм и вызывающих целый ряд серьёзных заболеваний?

В первом приближении ситуация обстоит следующим образом. Вирусы устроены так, что могут размножаться только внутри живых клеток. Клетки после попадания в них вирусов начинают вырабатывать интерфероны - вещества с антивирусной активностью. Поражённые вирусом клетки могут погибнуть, но произведённые ими интерфероны, попавшие в организм, защищают здоровые клетки от проникновения вирусов.

Поначалу препарат, который так и назывался-интерферон, успешно применяли для лечения вирусного гриппа. Вместе с тем, после вирусных инфекций часто возникало много тяжёлых и порой необратимых осложнений. Всем известно, что не так страшен грипп, как осложнения после него. Почему они возникают?

Профессор Скуркович высказал гипотезу, что интерфероны могут быть наработаны с избытком, и, оставаясь в организме в большом количестве, они могут привести к таким страшным последствиям, как аутоиммунные заболевания, например, ревматоидный артрит. Если это так, то необходимо избыточный интерферон из организма удалить. И в лаборатории Скурковича по тому же принципу, по которому делались антистафилококковые препараты, изготовили препарат, содержащий противointерфероновые антитела.

Первое испытание нового препарата проводилось на шестнадцати тяжёлых больных, страдающих ревматоидным артритом, который сопровождался невыносимыми болями в распухших суставах и их деформацией. В течение пяти дней больным дважды в день делались инъекции. Результат не вызывал сомнений. Весь персонал больницы сбегался посмотреть на вчерашних инвалидов, которые избавились от мук и радовались чуду. А Семён Владимирович не мог скрыть душевной радости и от того, что видел счастливые лица излеченных людей, и от того, что его гипотеза оказалась верной.

Статьи проф. Скурковича и его сотрудников печатаются в самых авторитетных зарубежных научных журналах: «Immunology» в Англии, «Ann. Allergy» и «Nature» в США, в Трудах знаменитого Института им. Л. Пастера во Франции. Особо выделим журнал «Nature», в котором публиковали свои работы Нобелевские лауреаты прежде, чем им присуждалась эта престижная премия. Дважды Семён Владимирович удостоился чести быть опубликованным в «Nature», что подтверждает высокий мировой уровень достижений лаборатории и её руководителя.

Профессор Скуркович непрерывно генерирует новые идеи. Активная исследовательская работа не прекращается ни на один день. В его лаборатории по тому же принципу, по которому делались антиинтерфероновые препараты, изготавливают другие антицитокиновые лечебные средства.

При слове «антицитокиновые» мне снова приходится признаться в собственной безграмотности и просить Семёна Владимировича пояснить, что это такое.

- Интерферон, о котором мы говорили, это один из многих известных к настоящему времени цитокинов – биологически активных белков, с помощью которых разнообразные клетки иммунной системы могут обмениваться друг с другом информацией и согласовывать свои действия.

- Тут нет преувеличения? Ведь обмен информацией - свойство разумных существ.

- Никакого преувеличения. Цитокиновая среда ещё мало изучена, но уже ясно, что в ней взаимодействуют часто меняющиеся сложные сигналы. Их действия вызывают изумление. Цитокины объединяют в своих реакциях иммунную, эндокринную и нервную системы. Всякий биологический отклик организма связан с цитокинами. Нормальная работа цитокинов определяет нормальное

функционирование всего организма. Любые сбои в работе цитокинов, недостаток их или перепроизводство, приводят к болезням, в первую очередь, к аутоиммунным заболеваниям, причина которых долгое время оставалась неясной, и лечение практически отсутствовало.

Предположение, что дело в нарушении синтеза цитокинов, впервые в мире было высказано Скурковичем. Это предположение нашло блестящее подтверждение и принесло Семёну Владимировичу очередное международное признание. Он стал пионером в лечении, названном антицитокинотерапией, которое сегодня широко используется во всём мире. Не так просто произнести это длинное слово – антицитокинотерапия, но это для непосвящённых. Семён Владимирович произносит его с гордостью человека, совершившего открытие.

Зарубежные коллеги проявляют огромный интерес к работам уже ставшего всемирно известным профессора. В составе делегаций они посещают его лабораторию. Его приглашают с визитом в институты и центры для обмена опытом и с докладами на медицинские конференции. В страны Варшавского блока ещё куда ни шло, но в капиталистические?! Попрежнему беспартийный, всё с тем же «пятым пунктом», да ещё персонально, а не в составе делегации.

В 1969 году профессору Скурковичу удалось не без поддержки высокопоставленного чиновника получить разрешение на участие в конференции в США с докладом о новом подходе к лечению лейкозов. Американские коллеги приняли его по высшему разряду. Его доклад был заслушан с огромным вниманием и удостоился аплодисментов. Он посетил клиники и лаборатории, увидел уникальное оборудование, которое ему и не снилось, услышал о больших деньгах, вкладываемых в медицину. Семён Владимирович и раньше слышал об этом, но совсем иное увидеть собственными глазами. Всё

это трудно было сравнивать с состоянием медицины и уровнем жизни медицинских работников в СССР.

В Национальном Институте Здоровья (НИИ) США Скурковичу предложили в любое удобное время приехать на более длительный срок, чтобы совместно поработать. Вежливо поблагодарив за приглашение, Семён Владимирович сказал, что это не так просто, хотя прекрасно понимал, что это попросту невозможно. До момента, когда он снова окажется в Национальном Институте Здоровья, пройдёт десять лет.

Семён Владимирович рассказывает, что не ощущал на себе антисемитизма, и условия работы были у него по советским меркам замечательные. Его не тронули в годы разгула борьбы с «безродными космополитами», когда евреи в массовом порядке изгонялись с руководящих должностей. Не коснулось его лично и пресловутое «дело врачей». Московский горисполком выделил его семье прекрасную квартиру. В своей «раковине» он чувствовал себя вполне комфортно. Но всё, что происходило с другими, было у него на глазах. И как можно быть уверенным, что в следующий раз это не коснётся тебя и твоих детей... Однако не это, признаётся Семён Владимирович, было главной мотивацией для отъезда за рубеж. Он прежде всего учёный, и возможности, которые ему виделись в США, притягивали с невероятной силой.

В 1979 году, когда люди сидели в отказе по многу лет, когда ОВИРы цинично издевались над желающими уехать, семье профессора Скурковича удалось сравнительно легко выехать в Штаты. Отпускать или не отпускать - решали только «компетентные органы», и один из больших генералов, благодарный Скурковичу за спасение дочери, помог решить вопрос.

Семён Владимирович Скуркович эмигрирует с семьёй в США, где его уже ждёт место в Национальном Институте Здоровья. Почти сразу он получает грант от

Американского онкологического центра для развития своих идей по лечению онкологических заболеваний. Ему всего 57, и он полон энтузиазма и новых идей по лечению иммунных заболеваний, связанных с нарушением синтеза цитокинов. Это, по предположению профессора Скурковича, и аутизм, и рассеянный склероз, и псориаз... остановим перечисление страшных людских недугов. Все эти заболевания, как показали последующие исследования, связаны с перепроизводством в организме различного типа цитокинов, говоря по-научному, с гиперпродуцированием цитокинов.

...Но вернемся на некоторое время назад, в советский период жизни профессора. Его работы по созданию антицитокинов, как уже было сказано, явились революционными. Он впервые выявил воспалительные цитокины, которые участвуют в формировании воспалений в самых разных местах человеческого организма при ряде заболеваний, и предложил их удалять. Клинические исследования показали высокую эффективность антицитокинов в борьбе с воспалениями.

Упомянем о длившемся тридцать лет эксперименте, который начался ещё в России, в Институте онкологии, и был продолжен в Америке. Лечению вакциной, созданной Скурковичем, подвергались 54 ребёнка с острым лейкозом, для которых скорый летальный исход не вызывал сомнений. Выжили и благополучно росли восемь детей. Казалось бы, не так много, чуть больше 15%, но это при стапроцентной смертности, которая была прежде. Успех несомненный. Результаты эксперимента были доложены на Всемирном онкологическом конгрессе и получили восторженные отзывы.

В лаборатории С. В. Скурковича совместно с НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова были созданы так называемые эшерихиозные вакцины (эшерихиа коли – кишечная палочка) против четырёх типов антигенов

кишечной палочки. Однако в патенте на это изобретение учёным было отказано. Почему?

- Рецензент дал отрицательный отзыв. Оказалось, что у него какие-то личные счёты с Институтом им. Мечникова. Конечно, можно было бороться, но не хотелось на это тратить время, да и смысла большого не было. Одним патентом больше, одним меньше - какое это имело значение. Гораздо важнее и интереснее было проверить лечебную эффективность нового средства.

Семён Владимирович вспоминает очень рискованный эпизод, когда в крупной детской больнице им. Морозова заболела трёхлетняя девочка. У неё был менингит, вызванный кишечной палочкой. Она умирала. Надежд на спасение не было, и доктор Скуркович предложил ввести в спинномозговой канал иммунную сыворотку против эшерихиозной бактерии. Сначала была тяжёлая реакция ребёнка и волнение врачей, но постепенно наступало улучшение, и через несколько дней девочка была практически здорова. Её мать плакала от счастья. Семён Владимирович вспоминает большущий торт, который она принесла с искренней благодарностью за спасение своего ребёнка.

Рисковать Семёну Владимировичу приходилось не раз. На согласования не было времени, и он часто брал решения на себя. За это в Институте его прозвали «партизаном».

В 1984 году коллективу учёных за создание и внедрение антистафилококковых препаратов была присуждена Государственная премия СССР. Каково же было удивление Семёна Скурковича, когда его, автора и руководителя работы, не оказалось в списках награждённых.

- Мне, - говорит Семён Владимирович, - не очень были нужны медаль и денежное вознаграждение. Сами понимаете, в Америке я зарабатывал гораздо больше, чем

все мои бывшие коллеги, вместе взятые. Но где справедливость?

И он пишет письмо в Министерство здравоохранения, которое представило работу к награде. Приведу цитату из ответного письма Минздрава:

«...Возможно, переезд в США и смена гражданства привели к тому, что Вы не попали в число лауреатов премии 1984 г. Несмотря на это, Вы учёный с мировым именем. Ваши заслуги как автора антистафилококковых препаратов и работ по антицитокинам общепризнаны...»

Хорошо, что хоть признают заслуги, но до сих пор Семён Владимирович не может простить обиду и клеймит российских бюрократов и чинуш.

В Штатах от него потребовалось не меньше сил и настойчивости для преодоления бюрократических барьеров, чем в Союзе. Но теперь у него появились совсем другие возможности, определяемые частной инициативой.

Семён Владимирович вспоминает разговор со знаменитым изобретателем вакцины от полиомиелита, доктором Джонасом Солком вскоре после эмиграции.

- Доктор Солк хорошо знал мои работы и дал им высокую оценку, но при этом добавил: «Америка не такая хорошая, как вы думаете. Для того, чтобы реализовать ваши патенты, вы должны найти честного и богатого инвестора».

Одна компания выделила 40 млн. долларов на получение антистафилококковых иммунных препаратов. Однако отказ строго следовать патенту, на чём настаивал Семён Владимирович, привёл к тому, что работа потерпела неудачу, и он был бессилён что-либо изменить. Прошло немало времени, пока антистафилококковые иммунные препараты, предложенные С. В. Скурковичем, начали широко использовать во многих странах мира, включая Россию.

Наученный горьким опытом, Семён Владимирович решил организовать собственное дело. Поначалу всё складывалось отлично. Ему помог адвокат, мистер Браун. Оформляя очередной патент профессора Скурковича, он сказал ему, что его идеи могут принести большие деньги, и они договорились создать компанию. Арендовали помещение, купили необходимое оборудование, пригласили в Совет директоров инвесторов и даже приобрели на ферме коз и овец, необходимых для получения препаратов. Так появилась компания Advanced Biotherapy Concepts во главе с президентом Семёном Скурковичем.

Планы были грандиозные - со временем превратить компанию в мощную международную корпорацию, включающую клиники и фармацевтические предприятия. Однако Семён Владимирович не мог представить, в какую конкурентную борьбу он вступает.

Бизнес-история проф. Семёна Скурковича и грустная и понятная. В Советском Союзе, приспособившись к советской бюрократии, Семён Скуркович страдал от невозможности развернуться в полную силу, от необходимости согласовывать всё и вся, выпрашивать штаты и деньги, обосновывать покупку нужной зарубежной аппаратуры. В Америке он надеялся уйти от этих проблем, и ушёл. Но возникли другие.

- Теперь я вижу, каким я был наивным, - говорит Семён Владимирович. – Помните, что сказал Ян Гус, когда в Праге его сжигали на костре, про старушку, которая подбрасывала хворост? Святая простота!

Итак, есть фирма, есть авторитетные люди, сулящие успех. Нашлись бизнесмены, ничего не понимающие в медицине, но имеющие деньги и нюх на то, как их можно умножать. Были выпущены акции фирмы, часть которых досталась Скурковичу. По договору все патенты теперь принадлежали не автору, а фирме. Но разве это важно для

учёного? Главное, чтобы как можно быстрее провести клинические исследования и сделать препараты доступными для больных.

Семён Владимирович работал как одержимый. Он был счастлив, но счастье, к сожалению, было недолгим. На определённом этапе денег стало не хватать. Профессору Скурковичу, владевшему большим пакетом акций, было предложено их продать. Кто бы опять думал о последствиях? Чтобы получить деньги и продолжить исследования, Семён Владимирович продаёт свои акции. Обидно, больно, но и с этим Семён Владимирович готов был смириться. Лишь бы препараты скорее дошли до больных. У него же с детства, как вы помните, «одна, но пламенная страсть» - излечить человечество от тяжёлых недугов. И тут Семёна Владимировича ждало такое разочарование, что он до сих пор не может об этом спокойно говорить.

Мы слышаны о том, что частная инициатива способствует быстрому научно-техническому прогрессу. Это истина, но только относительная. Когда вступает в силу закон больших денег, прогресс тормозится или даже останавливается. Ни для кого сегодня не секрет, что крупные нефтяные компании чинят серьёзные препятствия развитию альтернативных средств, исключая нефтепродукты. Они покупают большое количество патентов и кладут их под сукно, делая невозможным дальнейшее развитие. Похожая ситуация имеет место в медицине. Идеи проф. Скурковича, раскрывающие глубинную роль иммунной системы в возникновении различных патологий и предлагающие абсолютно новый подход к излечению ряда болезней, неминуемо приводят к революционным изменениям в фармакологии. Но это совсем не нужно фармакологическим гигантам. Они зарабатывают столько на продаже лекарств, что начинает действовать закон больших денег.

Семён Владимирович горяч в оценках, он называет преступниками владельцев его патентов, но, увы, они действуют по правилам. Можно сколько угодно возмущаться, что это аморально. Можно взывать к любви, к человеколюбию. Тщетно. Закон Больших Денег.

Напоминаю разгорячившемуся Семёну Владимировичу известные слова Эрнста Неизвестного: «Рая на земле нет. Но, если выбирать лучший из адов, то это Америка».

- Лучший из адов, худший из раев - можно сколько угодно жонглировать словами. Кстати, в русском языке и ад и рай, по-моему, не имеют множественного числа. Назовите, как хотите, но чёрное всегда чёрное, а белое - белое. Положить под сукно мои патенты - это преступление, и никаких оправданий и утешений тут быть не может.

В распоряжении компании, которая больше не принадлежала Семёну Скурковичу, оказались патенты на препараты для лечения диабета первого типа, псориаза, рассеянного склероза, для остановки отторжения трансплантантов и некоторые другие. Профессор Скуркович был автором, научным руководителем, главной движущей силой, но в бизнесе у него не было никаких прав. С горечью Семён Владимирович говорит:

- Больше всего я переживаю за больных детей, которые страдают от диабета первого типа. В Америке 1.5 миллиона таких детей, которые должны вводить инсулин по 7-8 раз в день. Этот тип диабета так и называется - «детский диабет». Я знал, как помочь этим детям, и не мог использовать для этого свои патенты. Человек, владеющий акциями компании, делал вид, что пытается реализовать патенты, но это было не больше, чем желанием на какое-то время меня успокоить. Поняв это, я попросил его перепродать мне мои патенты, которые он купил за бесценок, но он запросил такую крупную сумму, что я онемел. У меня и близко не было таких денег. Я не могу сказать, что я бедный человек, но из богатого человека,

которым некоторое время был, я превратился в человека, у которого нет денег даже на то, чтобы симфонический оркестр и хор исполнили мой «Холокост».

Прежде, чем рассказать о «Холокосте», необходимо вернуться к музыкальной стороне жизни Семёна Владимировича. Даже став знаменитым учёным-иммунологом, он продолжал не только самозабвенно слушать классическую музыку, но и сочинять свою собственную. Его музыкальная эрудиция поражает. Он не только знает всю классику, но и на слух может определить, какой дирижер управляет оркестром.

В Штатах ему повезло встретиться с великим скрипачом Исааком Штерном. Они говорили между собой по-русски, хотя Штерн эмигрировал с родителями в младенческом возрасте в начале двадцатых годов минувшего века. Семён был всего на два года младше, и они быстро перешли на «ты». Семёну запомнилась шутка Штерна по поводу культурного обмена между Штатами и Союзом: они нам посылают своих музыкантов из Одессы, мы им посылаем своих музыкантов из Одессы. Семён дал послушать фрагменты магнитофонной записи своего концерта для фортепьяно с оркестром.

- Замечательно, - похвалил скрипач. - А для скрипки ничего нет?

Из музыкальных сочинений, написанных Семёном Скурковичем, больше всего ему удалась, как он считает, симфоническая поэма в четырёх частях для двух голосов, хора и оркестра, посвящённая Холокосту. Видевший лагерь смерти собственными глазами, он не мог забыть невыносимое зверство человекоподобных. Люди должны помнить об этом. Его музыка о любви двоих, обречённых на смерть и бессмертных.

С этой симфонической поэмой как раз и связано наше знакомство с Семёном Владимировичем, перешедшее, к большой моей радости, в дружбу. Он увидел и услышал

меня в литературной передаче русского телевизионного канала RTN с ведущим Ильёй Граковским. Ему понравились мои стихи, и он спросил, не соглашусь ли я написать строчки к его музыке, посвящённой Холокосту. Я ещё представления не имел, кто такой Семён Скуркович и что за музыку он написал, но согласился попробовать, и Семён Владимирович прислал мне ноты.

Мои друзья-музыканты нашли музыку оригинальной и интересной, а мне она просто понравилась. И я начал сочинять слова, которые, в моём понимании, музыке соответствовали.

Для общего представления о том, что получилось, приведу небольшие фрагменты. Хор начинает со строк:

Судьба на муки обрекла Народ.
В небеса руки он простёр.
Где Ты, Бог? Разве Ты не видишь нас?
Стоны наши услышь...

Затем вступают сопрано и тенор, она и он, которые успели полюбить друг друга, но не судьба была им стоять под хупой. Они в одном фашистском лагере, но женские и мужские бараки разделены, и нет возможности им видеть друг друга. Они поют о любви, о трагедии, выпавшей на их долю, о том, что вместе они смогут быть разве что после смерти.

Продолжает хор:

Где ты, Ха-Шем?
Видишь ли ты этих двоих?
Метры пути не одолеть,
Вмиг разорвут псы.
Ближе до звёзд этим двоим,
Ближе до неба.
Там обретут вечный покой,
Будут сиять рядом.

И тенор и сопрано вторят друг другу:

Свадьбу сыграть не судьба на Земле.
Будет хупою нам звёздное небо.

В заключительной части хор поёт, обращаясь к Богу:
На смерть, на муки Ты обрѣк Народ.
Как палач, смаху бьѣшь кнутом.
Наказать жѣстко Ты задумал нас.
Слышишь стоны?
Прости.
Не можем мы целовать, Господь,
Кнут, которым бьѣшь...

Симфоническая поэма символично заканчивается несколькими тактами израильского гимна «Хатиква» («Надежда»). Мы были, есть и будем. Народ вечен.

Семѣн Владимирович мечтает, чтобы его поэма была исполнена большим симфоническим оркестром и многоголосым хором. Для этого нужны немалые деньги. Он пытается найти поддержку в еврейских общественных организациях, пишет письма просьбой помочь выдающимся людям: Стивену Спилбергу, Барбре Стрейзанд, Эли Визелю, Нобелевскому лауреату, пережившему Холокост. Ему кажется, что еврейская кровь этих знаменитостей вызовет их интерес к его «Холокосту», и они поспешат прийти на помощь. Но в ответ молчание или вежливые холодные отписки.

Сегодня, когда я пишу о нём, Семѣн Владимирович продолжает остро переживать свою неудачу в бизнесе, но не потому, что не заработал больших денег, а потому, что не смог и до сих пор не может помочь тяжело больным людям, страдающим от практически неизлечимых болезней. Есть выдающиеся научные результаты, есть международное признание коллег, но разве всё это сравнимо с благодарными и счастливыми глазами излеченных людей. Видеть эти глаза было самой большой радостью в жизни Семѣна Владимировича Скурковича.

Ему идёт 93-й год, но он продолжает изумлять своей творческой активностью. В последнее время им получены

два патента на замену гемодиализа, производимого машиной, на инъекцию антител, которую может делать сам больной. Не надо быть специалистом, чтобы понять, как это жизненно важно для больных, у которых отказывают почки. Только в Штатах семьсот тысяч таких людей, и инъекции антител могут кардинально изменить их жизнь и значительно снизить смертность от этого тяжёлой болезни.

Как всякой творческой личности, Семёну Владимировичу свойственно здоровое честолюбие, и он уверен, что благодарное человечество со временем оценит по достоинству его вклад в борьбу с тяжелейшими заболеваниями. Он сделал всё, что мог. Он продолжает делать всё, что может. Ему есть чем отчитаться перед Богом и перед людьми.

Что ещё можно к этому добавить? Признание коллег он ощутил в полной мере. Журналистских славословий тоже было достаточно. Многочисленные благодарности излеченных от тяжёлых недугов людей делали его счастливым. За достижения в иммунологии он получил диплом «Great Mind of the 21-st Century». С девяностолетием его поздравила президентская чета Соединённых Штатов. Но на то он и Гаон, чтобы не только радоваться своим достижениям, но и переживать от того, что многие из них до сих пор не начали работать на благо человечества.

Юрий Солодкин родился в Новосибирске. Доктор наук, профессор. В США работает по специальности. Многие годы его любимое занятие - задавать интересные вопросы и искать интересные ответы, умещаая и то, и другое в четыре поэтические строки. Выпустил несколько книг таких миниатюр, включая «Библейские поэмы» - на бессмертные сюжеты Ветхого Завета.

Постоянный автор журнала «Время и место».

ЗОЯ ПОЛЕВАЯ

ЛИРИКА

НЬЮ-ЙОРК

Я не часто выбираюсь
В этот город многоликий.
Им невольно увлекаюсь:
Шум, движение, звуки, блики.

Океаном отраженный,
Раскаленный от жары,
Беспокойный, напряженный,
Разделенный на миры.

В камне, стеклах и металле,
В мелкой солнечной пыли,
То он резко вертикален,
То распластан вдоль земли.

Там подземки лязг и скрежет,
Там машин безумный рой.
Он и строг, и безмятежен,
И обвешан мишурой.

Безразличный, но радушный,
Заклучить всегда готов
Дерзких или простодушных
Он в объятия мостов.

Он огромный, яркий, разный,
Он и мелок, и велик,
И кругом звучит соблазном
Каждый сущий в нем язык.

Он закрутит и завертит:
Парки, дворики, дома,
Уморит почти до смерти
И почти сведет с ума.

И заставит нас влюбиться
В неповторный профиль свой,
Взмует в небо хищной птицей –
И парит над головой.

МОЙ КИЕВ

Дыни херсонские, вишни нежнейшие –
Темные, терпкие, солнцем прогретые.
С детства знакомые улицы здешние,
В ясное, росное утро одетые.

Воздух сладчайший и ветер, такой
Свежий, бодрящий, упругий, морской
Веет, меня за собой увлекая,
Хоть посредине материка я.

Это мой Киев, мой ласковый Киев,
Это в закате иду вдоль реки я,
Там, где при всех, не смущаясь нимало,
Счастье так юно меня обнимало.

Радость моя, я не помню усталость,
Много прошло или мало осталось –
Это не важно, а важно другое:
Жить и дышать, обретя дорогое.

Город магический, город нетленный,
Вот я – твой подданный, беглый и пленный.
Город мой, сердца и солнца слиянье,
Нет расставания – есть расстоянье.

Июль 2012

Терпким летом, под полной луной,
Так легко говорить откровенно,
Но непросто связаться со мной
В переполненной гулом вселенной.

Шум и грохот, любой голосок
Различим в этом гаме едва ли.
Но вернемся туда на часок,
Где мы раньше нередко бывали.

Черный чай на веранде в ночи,
Вдоль забора гуляет собака.
Там в замке забывались ключи,
Мылись ноги водой из-под бака.

Это место уже в небесах
Кормит ангелов белым наливом,
Мой отец ранним утром, в трусах,
Снова в сад свой выходит счастливым.

Солнце гладит его по спине,
Он свистит, отвечая синицам,
И привет посылается мне –
Если лунною ночью не спится.

И услышан уже позывной,
Он получен и принят мгновенно,
Хоть непросто связаться со мной
В переполненной гулом вселенной.

МЕТАМОРФОЗЫ ОСЕНИ

Вот полдень день перегибает
По срезу солнца пополам.
Дорогу лист перебегаёт
И прислоняется к углам.

Блеск симметричного пространства:
Сиянье в небе и в воде.
Но нет в природе постоянства,
Как, впрочем, нет его нигде.

Полупрозрачны, беззащитны
Деревья в полунагоде.
Всё, что вчера читалось слитно,
Рассыпал ветер в суете.

Кружит, взлетает жёлтый, алый,
Земли касается едва.
Как под лоскутным одеялом –
И тротуары, и трава.

Спустился вечер. Сыровато.
И ночь ведёт луну в зенит.
Сползают тучи серой ватой,
За ними дождик семенит.

А после – налетает ветер.
Гудит земля, рябит вода.
Деревья, пойманные в сети,
Ветвями бьются в провода.

Но утихает непогода,
И что же видится с небес:
Совсем другое время года,
Другие рощи, луг и лес.

Лежит померкшая держава,
Где были кроны – пустота.
Белесо-жёлтый, бурый, ржавый –
Вот поздней осени цвета.

Уже и холод колет пальцы,
И свет в плену у долгой тьмы.
И на невидимые пальцы
Уже натянута холста зимы.
Ноябрь 2014

М.Р.

Чертит дождь диагонали
И сползает со стекла.
За окном в оригинале
День без рода и числа.

Серо, сыро и туманно,
Свет двоится и косит.
Погруженный как в нирвану
Город призраком висит.

Как непросто разобщаться,
Дождь в окне, озноб в груди.
Если хочешь распрощаться,
То сегодня уходи.

Серо, сыро и туманно,
Свет двоится и косит.
Погруженный как в нирвану
Город призраком висит.
Декабрь 2014

Зоя Полевая окончила Киевский институт инженеров гражданской авиации. В 90-е годы посещала поэтическую студию Леонида Николаевича Вышеславского «Зеркальная гостиная». В 1999 году в Киеве вышел ее поэтический сборник «Отражение». 15 лет живет в США. Печатается в литературных журналах на Украине и в зарубежье. В 2002 году организовала в Нью-Джерси литературный клуб, которым руководит и поныне.

ЕВГЕНИЙ СОКОЛОВСКИЙ

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ КЛАССИКИ

АННА АХМАТОВА

Мне ни к чему одические рати
И прелесть элегических затей.
По мне, в стихах все быть должно некстати,
Не так, как у людей.

Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда,
Как желтый одуванчик у забора,
Как лопухи и лебеда.

Сердитый окрик, дегтя запах свежий,
Таинственная плесень на стене...
И стих уже звучит, задорен, нежен,
На радость вам и мне.

1940

I have no need for the regiments of odes
Nor miss the zest of elegy a bit.
Let all be inappropriate in poems,
Not as in lives we lead.

Oh, from what rubbish, if you want to know,
My poems tend to rise without shame,
A dandelion by a fence thus grows,
Goosefoot and burdocks do the same.

The smell of tar, a call, commanding, angry,
The enigmatic mold upon a wall,
And thus a poem rings, alive and tender,
To the delight of all.

ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ

Американка в двадцать лет
Должна добраться до Египта,
Забыв «Титаника» совет,
Что спит на дне мрачнее крипта.

В Америке гудки поют,
И красных небоскребов трубы
Холодным тучам отдают
Свои прокопченные губы.

И в Лувре океана дочь
Стоит прекрасная, как тополь;
Чтоб мрамор сахарный толочь,
Влезает белкой на Акрополь.

Не понимая ничего,
Читает «Фауста» в вагоне
И сожалеет, отчего
Людовик больше не на троне.

1913

A young American female
Departs for Egypt never cautioned
By the Titanic's dreadful tale
Told from the bottom of the ocean.

At home the working men comply
With daily whistles and skyscrapers
Project their tips into the sky
As freezing cumuli enwrap them.

The ocean's gorgeous daughter pays
A visit to the Louvre to marvel;
As if a squirrel she makes way
To the Acropolis' white marble.

She does not understand a thing
In "Faust" and reflects in sadness
On Louis, the deposed French king,
Whose reign to her regret has ended.

Евгений Соколовский родился в Киеве. В США с 1992 года. Закончил Колумбийский Университет, где специализировался в изучении русской литературы и математики. Затем закончил Квинс-колледж, получив диплом библиотечного работника. В данный момент работает библиотекарем в Беркли-колледж, Нью-Джерси.

Его переводы русской поэзии на английский многократно печатались в русско-американской периодике.

МИХАИЛ КОПЕЛИОВИЧ

ЮБИЛЕИ: БРОДСКИЙ-ПОЛЯКОВ

1

Не часто так бывает, что в одном и том же году в одном и том же городе появляются на свет два выдающихся писателя; и к тому же оба – одной национальности, при том что родным языком, на котором они сочиняли свои выдающиеся произведения, не был язык их предков. Но вот же – случилось. И произошло это в 1940 году в городе, носившем навязанное ему имя (Ленинград). И оба они были евреями, правда, особой разновидности: евреями *русскими* (советскими). И родным для них, как и для большинства советских евреев их поколения, по крайней мере живших в ту пору в крупных городах, был язык *русский*. И за сочинения, написанные одним из них на этом языке, автор удостоился высшего международного признания, став пятым русским писателем – лауреатом Нобелевской премии.

Вот имена этих сверстников и собратьев по ремеслу: Иосиф Бродский (род. 24 мая) и Борис Поляков (род. 13 августа). В 2015 году каждому из них исполнилось бы 75 лет.

Есть ещё ряд сходных деталей в их биографиях. Поляков не знал своих родителей, так как его отец пропал без вести в самый начальный период советско-германской (она же Великая Отечественная) войны 1941-1945 годов, а мать умерла, когда мальчику было всего пять лет. Бродскому в этом плане повезло больше: он рос под родительским кровом; однако оба его родителя ушли из жизни вдали от своего сына. Я, собственно, не открываю никаких Америк: о Бродском написаны десятки, если не сотни, исследований, и каждый эпизод его жизни давно стал достоянием всех, кто интересуется поэзией и судьбами поэтов. (Есть, к примеру, книга «Иосиф Бродский: труды и

дни». Редакторы и составители Пётр Вайль и Лев Лосев. Москва, изд. «Независимая газета», 1999.)

Оба: и Бродский, и Поляков – в разное время покинули свою «географическую» родину – Советский Союз, полностью разочаровавшись в так называемых идеалах социализма. Первого, по сути дела, выпихнули из страны (в июне 1972-го). Второй вместе с женой Верой (в девичестве Матвеевой)* спустя четыре года *добровольно* покинул СССР после целого ряда перенесённых унижений и мытарств, обусловленных как антисемитской политикой «государства победившего интернационализма», так и специфической персональной обидой тяжелобольного человека. («Инвалид в государстве, где они жили, – человек пропащий, жить ему не на что. Положение его в социальном плане откровенно унижительное», как справедливо отметил в своём очерке о Полякове «Человек, победивший судьбу» публицист Зеэв Грин. - См.: *«Преодоление. Жизнь и судьба Бориса Полякова». Сборник очерков, статей и воспоминаний под редакцией З.Грина и М.Копелиовича. Израиль, Кирьят-Ям, 2007*). И наконец, они умерли почти в один день, правда, с десятилетним интервалом: Поляков – 24 января 1986 года, Бродский – 28 января 1996-го. Полякова доконала его болезнь – миопатия, Бродского – большое сердце.

Здесь кончаются черты сходства и начинаются черты различия. Различия в художественных устремлениях, в обстановке, в которой создавались произведения, и в степени их последующей «раскрученности», то есть в читательской судьбе. Бродский рано начал писать стихи, но в течение долгого времени (по сути дела, всего советского периода) не мог вписаться в литературную «тусовку» Ленинграда, хотя в близкой ему элитарной писательской среде (от Ахматовой до Эткинда) был признан как большой и самобытный талант, а ещё как блестящий переводчик поэзии. Недаром на позорном процессе, где ему было предъявлено обвинение в

тунеядстве (1963), в его пользу свидетельствовали: С.Маршак, К.Чуковский, Л.Чуковская, уже упомянутый Е.Эткинд, В.Адмони, Н.Грудинина. За судом последовало полтора года ссылки в Архангельскую область, откуда он был освобождён (под давлением общественности) 11 сентября 1965 года (вот, кстати, ещё один юбилей, наступающий в 2015-м).

А Поляков в это самое время служил в Советской Армии и в бытность там впервые ощутил литературное призвание. Как пишет в упоминавшемся очерке З.Грин, «именно в это время его охватил зуд писательства, и дневники армейских лет полны набросков, рассказов, эссе. Не все умелы, но пишутся ежедневно». В 1964 году Поляков демобилизовался и вернулся в Ленинград. Начал работать, продолжая мечтать о литературном поприще. Одновременно учился на вечернем отделении в университете, на философском факультете (окончил в 1970-м). В отличие от своего ровесника, с советской властью не конфликтовал (вернее, она – с ним), но вместо неё первые вылазки совершила болезнь, которая спустя полтора десятилетия унесёт его в могилу. Кроме того, разбилась вдребезги его личная жизнь – неудачный брак, закончившийся разводом и разлукой с двухлетним сыном.

Семилетие 1965-1972 прошло для Бродского в тщетных попытках опубликоваться в тогдашней советской периодике. Как вспоминает близкий друг поэта, прозаик и публицист Игорь Ефимов в своей книге «Нобелевский тунеядец» (Москва, изд. «Захаров», 2009), «стихи Бродского, только что возвращённого из архангельской ссылки, обсуждались на редколлегии "Юности". Евгений Евтушенко, которому были поручены переговоры, пытался уговорить Бродского убрать или изменить какие-то строчки. Но Бродский на уступки не пошёл и продемонстрировал полное отвращение к играм с цензурой, необходимым для получения визы в Совлит».

Но в то же время поэт усиленно занимался самообразованием и писал.

«Известность Бродского росла и это несмотря на то, что Москва и Ленинград были в те годы наводнены стихами, – вспоминает другой конфидент Бродского, поэт Александр Кушнер. – Бродский был моложе многих, к 1963 году занавес уже опустился (в том году Хрущёв успел побывать в Манеже на выставке), но вот свойство замечательных стихов – они расходятся по рукам и без типографского станка, их переписывают от руки (свидетельствую: я тоже переписал в заветную тетрадку бродских "Пилигримов".- *М.К.*), перепечатывают на машинке, заучивают наизусть» («Иосиф Бродский: труды и дни»).

Что касается Полякова, 1970 год был для него временем, как пишет всё тот же З.Грин, «глубочайшего кризиса души и тела, когда, казалось, наступил полный крах». Но тут судьба ему улыбнулась своей самой широкой улыбкой: в его жизнь вошла Вера. «Она пришла к нему, прошедшему через неудачную попытку самоубийства, больному, но не смирившемуся со своей зависимостью от людей (из-за болезни.- *М.К.*). Пришла – и осталась». Борис и Вера много читали, в том числе самиздат, общались с друзьями; «Боря перепечатывал на машинке Волошина, которого кто-то привёз из Крыма, Мандельштама, принесённого кем-то, побывавшим у Надежды Яковлевны, тогда ещё здравствовавшей вдовы поэта» (З.Грин, на основании воспоминаний Веры Поляковой).

Бродский, как уже говорилось, в 1972 году вынужденно эмигрировал в США, а Поляковы в 1976-м отправились в Израиль. Выбор страны проживания каждым из ровесников-ленинградцев был произведён не случайно. Бродский предпочитал большую англоязычную страну, по всем статьям находившуюся в ту пору в авангарде мировой цивилизации; его еврейство было для него если не «горбом», то и не «позвоночным столбом». А вот Поляков твёрдо и неотклонимо ощущал себя евреем, и

потому культивировавшийся в советской стране антисемитизм глубоко его уязвлял. Вера, будучи русской, полностью разделяла его чувства обиды и возмущения и поддерживала мужа в его желании переселиться в еврейскую страну.

Итак, в 1970-е годы: Бродский в первой их половине, Поляков во второй – оказались вне родной среды, среди людей, изъясняющихся на неродном для них обоим языке.

В жизни моих персонажей вдали от России снова появилось нечто сходное. Поляков в Израиле сформировался как писатель и мужественно, с помощью преданной жены, боролся с пожиравшим его недугом (и это продолжалось все десять последних отпущенных ему лет). А Бродский в Америке был вынужден время от времени преодолевать сердечные приступы, но несмотря ни на что продолжал плодотворно работать: писать (стихи по-русски, эссе и по-русски, и по-английски), преподавать русскую литературу американским студентам – будущим славистам, завоевывая всё большую известность в литературных и общекультурных кругах англоязычного Запада (вплоть до Нобелевской премии). Он много путешествовал, компенсируя недоступность зарубежных поездок в советский период своей жизни. Вообще же, можно сказать о нём, перефразируя Маяковского: *коротка и до последних мгновений нам известна жизнь Бродского.*

Здесь пролегает дистанция огромного размера между человеческими и творческими судьбами обоих писателей: Бродский ещё при жизни стал знаменитым, а Поляков и после смерти остаётся в тени. Бродский свою мировую славу обрёл заслуженно, Поляков объективно был достоин не меньших лавров, но не снискал их в силу известной культурной обособленности Израиля от мировых центров «раздачи» этих самых лавров и – обусловленной болезнью мастера – персональной изолированности от широкой публики, что лишало возможности должным образом рекламировать свою литературную продукцию (без чего в

наше время никак нельзя разрушить стену между писателем и читателем). Да и материальные обстоятельства Поляковых, ввиду физической неспособности Бориса выполнять какую бы то ни было оплачиваемую работу (Вера-то трудилась самоотверженно), были несопоставимы с возможностями Бродского, не говоря уже об условиях их творческой деятельности. Ведь Бродский не только сочинял, но и *собственноручно* фиксировал на бумаге свои творения. Поляков же был лишён возможности не только *писать*, но и *диктовать* своей жене, как это делал, к примеру, Даниил Андреев в последние месяцы своей мученической жизни советского изгоя.

2

О творчестве Бродского написано уже, быть может, больше, чем он сам написал. Я как литературный критик в этом прославлении «нобелевского тунейдца» не участвовал, поскольку при всём восхищении многими его стихами и едва ли не всей эссеистикой, лишь в редких случаях ощущал его «своим» поэтом. В большой работе «Калейдоскоп русской поэзии второй половины XX века» (1998-1999), опубликованной в Израиле, я прокомментировал поэтическое творчество двадцати русских поэтов-современников, в том числе одного эмигранта – Владимира Набокова (чьё поэзию предпочитаю его прозе), с которым иной раз сравнивают Бродского, но для последнего места у меня не нашлось, о чём я предуведомляю во вступлении к своему «калейдоскопу», специально оговариваясь: «Мои поэты – иные».

Здесь я посвящу поэзии Бродского лишь несколько слов.

Во-первых, на мой взгляд, сочинённое им в Америке в целом уступает его произведениям до 1972 года. Может быть, в семантическом плане поэт существенно вырос, что вполне естественно: ведь с годами аккумулируется жизненный опыт, который у человека мыслящего и

творческого переопределяется в... лепет (О.Мандельштам: «Он лепет из опыта пьёт»), но вот как раз собственно лепет, то есть порождающая поэзию и насыщающая её спонтанность тем меньше ощущается мною в поэтических творениях Бродского, чем позже они созданы. Я высоко ценю такие написанные в эмиграции вещи, как «Осенний крик ястреба» (1975), «Письма династии Минь» (1977), цикл «Келломяки» (1982), «Рождественскую звезду» (1987), «На столетие Анны Ахматовой» (1989), «Не важно, что было вокруг, и неважно...» (1990), «Presepìo» (1991), но, если опять-таки брать в целом, процент впечатляющей меня поэтической продукции Бродского существенно снижается в американский период по сравнению с периодом советским.

Во-вторых, религиозная струя (в широком смысле) его поэзии всё заметнее редет по мере приближения автора к зрелому возрасту. Чем дальше, тем больше «причащается» Бродский «богу» Пустоты, Темноты, Тщетности и Бессмысленности нашего существования во Вселенной. Если это и так, мне всё же кажется, что во тьму, экзистенциально обступающую наше существование, Бродский внёс мало света, в хаос – мало гармонии. Впрочем, это сугубо моё представление о семантике его поздней лирики.

В-третьих – и это неразрывно связано с только что отмеченной сущностной безрелигиозностью поэзии Бродского – нарастают в ней, как колонии коралловых рифов на дне морском, мотивы разочарования во всём сущем, обличения житейской пошлости, мелочных повседневных забот, иной раз *в формах самой пошлости*. Как в цикле «Муха» (1985). Или в стихотворении «Вечер. Развалины геометрии...» (1987), где уже человек, а не муха, «отличается только степенью/ отчаяния от самого себя». И в другом – «Мир создан был из смешенья грязи, воды, огня...» (1990): «... пустоте стало страшно за самое себя./ (...)/ Всякий звук, будь то пенье, шёпот, дутьё в

дуду,-/ следствие тренья вещи о собственную среду./ В клёкоте, в облике облака, в сверкании ночных планет/ слышится то же самое "Места нет!"...» И в третьем – «Подруга, дурнея лицом, поселись в деревне...» (1992), в котором читаем: «Знаешь, лучше стареть там, где верста маячит,/ где красота ничего не значит/ или значит не молодость, титьку, семя,/ потому что природа вообще всё время (?-М.К.)». А в большом стихотворении «Посвящается Чехову» (1993) Бродский опускается до таких сентенций: «У Варвары Андреевны под шелестящей юбкой/ ни-че-го» и «Эрлих пытается вспомнить, сколько раз он имел Наталью/ Фёдоровну во сне». И то же самое в «Итаке» (1993): «А одну, что тебя, говорят, ждала,/ не найти нигде, ибо всем дала». Бедные Чехов и Гомер!

И наконец, в-четвёртых, Бродский, отчётливо сознававший своё еврейство, что видно из его эссеистики, в поэзии избегал соответствующего мотива. Вернее, не избегал, а не испытывал потребности его разрабатывать. Тут были у него предшественники и старшие современники: Б.Пастернак, Д.Самойлов, Ю.Левитанский (при том, что у почитавшегося им Б.Слущкого этот мотив «бьёт фонтаном»).

Об этой стороне творческого наследия Бродского я писал в статье «Птенцы, выпавшие из гнезда» (2007; опубл. в альманахе «Огни столицы», Иерусалим). «Гнездо» – российское (советское) еврейство. «Птенцы» – выдающиеся русские поэты, евреи по национальности, нейтрально или даже неприязненно (неприязненно – Эдуард Багрицкий) относившиеся к своему национальному статусу и по этой причине либо никак не отозвавшиеся – в своём творчестве – на две еврейские катастрофы (инспирированные германскими нацистами и российскими коммунистами), либо активно выступавшие за ассимиляцию евреев в Советском Союзе (в этом особенно отличился Давид Самойлов – правда, не в стихах, а в

мемуарах), против иудаизма и традиционного еврейского образа жизни (Пастернак, Багрицкий).

Среди прочих у меня фигурирует и Бродский. Посвящённый ему раздел статьи открывается высказыванием Александра Солженицына: «Еврейской теме Бродский уделил, кажется, меньше внимания, чем античной, английской или итальянской». Точно так же охарактеризовал поэзию нобелевского лауреата Шимон Маркиш в статье «"Иудей и Еллин"? "Ни Иудей, ни Еллин"», помещённой в книге «Иосиф Бродский: труды и дни». Приведу из неё одну цитату: «Надо полагать, любой читатель Бродского согласится, что таких ослепительных личностей, таких ни с кем не схожих, никому и ничему не подчиняющихся индивидуальностей в русской поэзии можно сосчитать по пальцам одной руки. Смею полагать, что в этой уникальной поэтической личности еврейской грани не было вовсе». Я, со своей стороны, рискну утверждать, что первая фраза приведённой тирады содержит известное преувеличение. Но со второй её фразой невозможно не согласиться. Как и со следующей за ней: «Еврейской темы, еврейского "материала" поэт Иосиф Бродский не знает – этот "материал" ему чужой».

3

Израильское десятилетие жизни Бориса Полякова характеризуется бурным всплеском писательской активности. Здесь им создавались стихи, публицистика, - последняя появлялась на страницах русскоязычной периодики Израиля. И здесь родился шедевр Полякова – роман «Опыт и лепет».

Однако прежде чем перейти к анализу самого романа, следует сказать о том, как функционировал этот человек, этот подранок, всё больше угнетаемый своей неизлечимой болезнью. Снова сошлюсь на свидетельство З.Грина, так сказать, авторизованное Верой Поляковой:

«Вера поступила на учительские курсы и, окончив их, начала работать в школе. Борис оставался дома один. Руки его ещё действовали, и он отстукивал на машинке письма, иногда сочинял, в ту пору только стихи и публицистические очерки на злобу дня. (...) Жизнь шла своим чередом, а болезнь – своим: слабели грудные мышцы, труднее становилось дышать, поднять руку, согнуть палец. Жили в страхе: наблюдавший Бориса врач-невропатолог "дал" ему не более двух лет жизни...»

Потом больницы, операции, подключение дыхательной машины, к которой Борис оказался прикованным последние пять лет жизни. В конце концов больной утратил способность не только говорить, но и шептать. Тем не менее Вера научилась по едва заметным движениям губ расшифровывать всё, что он пытался сказать, и, как она сама свидетельствует, «получалось в общем-то почти нормальное общение – оно было ему жизненно необходимо. Люди были ему интересны, в общении с ними он возбуждался, глаза его начинали блестеть, он жил».

И вот «как-то Борис позвал её (Веру. - *М.К.*) и попросил достать старые записи (...). Трудно было предвидеть, что это событие станет началом работы, которая приведёт к созданию и, что важно, к изданию – ещё при жизни Бориса – большого романа "Опыт и лепет", работы очень большой по объёму, которую, тем не менее, надо было сделать быстро: Борис знал, что жить оставалось недолго, и спешил.

Как писалась книга? Вера: "Обычно Борис сидел в своём кресле, а я, как всегда, занималась всякими бытовыми делами. Когда ему приходила в голову какая-нибудь мысль, он щёлкал-цокал языком, я тут же прибегала и на ходу записывала продиктованную (? - *М.К.*) Борей фразу. Читать текст по губам непросто. Иногда я не понимала простых слов, таких как «~~е~~гол», «~~р~~ость». (...) Проходило время, пока я, наконец, догадывалась, о чём речь. (...) На каком-то этапе, когда мы стали записывать целые главы,

работе посвящались долгие часы. Боря –диктовал”, я записывала, потом перепечатывала. Перепечатанное дополнялось, изменялось, резалось, клеилось, прежде чем выстраивался окончательный вариант. Так была написана книга, и, когда она была набрана, оказалось 627 страниц» (из очерка З.Грина).

Книга была завершена в конце 1984 года, но этому предшествовали публикации отдельных её частей в журнале «22», а 1 декабря 1985-го в Тель-Авиве состоялся вечер, посвящённый выходу всей книги в свет – увы, в отсутствие тяжелобольного автора и его жены. За девять дней до смерти Бориса в газете «Маарив» прошла большая статья, поведавшая ивритоязычным читателям страны о беспримерном подвиге этой пары...

Роман «Опыт и лепет» я считаю одним из самых мощных сочинений большого жанра, написанных на русском языке во второй половине минувшего века. Нет возможности в рамках небольшой журнальной статьи дать исчерпывающий анализ этого произведения. Приходится ограничиться конспективными комментариями. (Роман всесторонне проанализирован мною в работе «Групповой портрет с Виктором Новиковым, русским евреем», помещённой в сборнике «Преодоления», где она занимает без малого восемьдесят страниц.)

Начать с того, что это художественный текст, трактующий жизнь в её индивидуальных проявлениях и судьбу советского еврейства в целом через призму восприятия интеллигентного ленинградского еврея, полностью ассимилированного, эволюционирующего от примитивной юношеской преданности советскому режиму к зрелому антисоветизму, крепнущему желанию ощутить себя «еврейским евреем», переменить свои пространственные и духовные координаты.

Еврейская тема романа при этом так или иначе сопрягается (как в жизни) с множеством других тем и

мотивов, отражающих жизнь советского общества в обширном пространственно-временном континууме. Все коллизии романа пропущены через живые души людей, через их взаимоотношения, через нарастание в них – иногда постепенное, порой скачкообразное – сопротивляемости неблагоприятным окружающим условиям.

Хотелось бы подчеркнуть два момента. Первый – прописанность женских образов романа, что отличает далеко не всякую «мужскую» прозу, но только лучшие её образцы. Наряду и в тесной связи с этим в романе очень «звучит» любовный мотив: у главного героя – Вити Новикова – было три больших и разветвлённых любовных истории, и каждая из его любовей не похожа на другую, потому что и его избранницы имеют между собой мало общего. Мотив этот разработан детально, с тонкой психологической нюансировкой и откровенно-целомудренно.

Не стоит удивляться последнему оксюмору. Дело в том, что, как и для многих писателей – предшественников Полякова, изобразителей любви, физическая, чувственная её сторона имеет не меньшее значение, чем возвышенно-эмоциональная, нежная. Женщина для таких писателей не принижённый сексуальный объект, а равноправный партнёр в любовных отношениях. Для изображения интимной стороны любви автор «Опыта и лепета» нашёл слова, в которых обе ипостаси любовного чувства переплетены так, как это бывает, по-моему, только в «тесноте стихового ряда» (термин Ю.Тынянова). Одна цитата:

«Она отдалась мне. Нет, вру, это я ей отдался, а она меня приняла. Теперь-то я знаю: всё было как у всех. А тогда – не помню, помню только, что это было так именно прекрасно, как я мечтал. Почему-то быстро, и легко, и весело на душе, и неутомимо. Она целовала меня в грудь, в подбородок, в губы, обнимала, прижимала к себе, говорила

что-то – бессвязное, но такое понятное. Я был уже там, в новом мире, уже обживался в нём. Слышал новые слова, обращённые ко мне».

Второй момент, который вызвал восхищение лично у меня, но, полагаю, и другие читатели не обошли его своим вниманием,- это умение романиста так встроить в художественную структуру размышления персонажей на «отвлечённые», в том числе актуально-политические, темы; полифонию их реакций на всё, чему они являются свидетелями, в том числе на доступные культурные феномены; их нешуточные споры, в которых аргументы сторон равно убедительны (вспомним Достоевского),- что вся эта интеллектуальная атмосфера не только не кажется инородной собственно сюжетному развитию, но воспринимается как соприродная ему, как бывают соприродны полноводным, широко разлившимся рекам пороги и бурные подводные течения.

Роман построен сложно. Он состоит из трёх книг, причём вторая из них, в основном посвящённая бабушке главного героя, выглядит вставной новеллой. В ней дана глубокая ретроспектива, связанная с биографией бабушки Соры-Рохл и её семьи, тогда как в остальных книгах хронология охватывает куда меньший временной массив. Итого действие романа простирается на сто лет – с конца XIX века по конец (80-е годы) XX-го.

С другой стороны, все три книги составляют единое целое, объединённое центральной фигурой Виктора Новикова. И ещё: Сора-Рохл, умершая во второй книге, композиционно не однажды «воскресает» в третьей, в дневнике, который ведёт больной Виктор. Вообще, третья книга романа – «Всадник без коня» – резко отличается от первых двух («Автопортрет с Юлей» и «Жизнь и смерть Соры-Рохл») «сильно пересечённым» действием, в котором синхронно (в плане *романного времени*) участвуют и первая Витина жена Надя со своими родителями, и вторая его жена Марина – как в Витин и

свой собственный холостой период, так и много позднее (в плане *времени реального*), уже будучи женой героя.

Ещё несколько слов об архитектонике «Опыта и лепета». Её отличают одновременно спонтанность и продуманность. Первая проявляется в том, как неожиданно (для читателя) вводятся новые персонажи; автор даёт их сразу в «полном облачении», со своими именами и характерными жестами, без каких-либо предварительных объяснений и биографических подробностей (как, бывает, в войну пехота выступает без артподготовки). Что касается продуманности, приведу один пример. При публикации в журнале «22» сначала шла книга о бабушке, а книга о первой любви внука – следом за ней. Так оно было правильно с точки зрения тривиальной хронологии, но тривиальность и писатель Поляков – феномены несовместимые. Для образа самой бабушки очерёдность частей особого значения не имела, но при такой перестановке заметно спадает действенность происходящего, что оказывается катастрофичным для образа внука. Превратив вторую книгу романа в первую, пришлось бы пожертвовать очень динамичной начальной её главой, которая в каноническом тексте служит «двум господам»: возвращению ещё живой бабушки на страницы романа и её «путешествию» с дачи в больницу после инфаркта. (И глава эта ушла бы из книги вместе со своей концовкой, в которой врач советской больницы предупреждает о необходимости снять кольца с руки больной во избежание исчезновения оных.)

Вернусь к проблематике «Опыта и лепета». Тут приходят на ум примеры из классики. «Доктор Живаго», «В круге первом», «Жизнь и судьба». Что, помимо художественной мощи, сближает эти книги? Прежде всего, то, что их главные герои оказываются заложниками или, больше того, прямыми узниками своих режимов. Виктор Новиков из «Опыта и лепета» – родной брат их всех: не только евреев, но и русских. Виктор – трижды пленник

окружающего социума («самого гуманного в мире»): как человек мыслящий (стало быть, *инакомыслящий*); как еврей; как страдающий тяжелейшим недугом – прогрессирующей атрофией всех мышц. Советский образ жизни преследует его не только по *пятому пункту* (это само собой), но и за... его инвалидность. Витя в своём дневнике размышляет: «Инвалид в коляске на улице Ленинграда так же редок, как и слон. С тех пор как вывезли всех инвалидов на Валаам, "чисто" стало в Питере, очень стыдится инвалидов Советское государство, разумеется, советский человек – строитель коммунизма, а среди строителей инвалидов не бывает. К чёртовой матери поэтому всех этих безруких, безногих, увечных со всеми их орденами и медалями».

Весь ближний круг главного героя сходится на том, что советский режим – это сплошные *посадки* (не зелёных насаждений), *стук* в специфически советском значении этого слова и *страх*, являющийся, по мнению Вити, главной чертой советского характера (помните гроссмановский *госстрах* в «Жизни и судьбе?»). Упоминаются в романе и такие вещи, как лживость советских СМИ, выливание помоев на политических оппонентов, особо изощрённые пытки и издевательства над заключёнными в ГУЛАГе («В Озерлаге одну девушку поставили голой на пень (...). И многих ставили. Шаг с пня – вертухай стреляет: побег»).

Два слова о еврейской теме. Поляков выводит на сцену целый отряд антисемитов советского разлива: бабу в очереди, оравшую: «Жида, не давать им хлеба, они в Ташкенте отожрались!»), а также некую даму, которая делила евреев на «евреев и жидов. Жидов она ненавидит и презирает, евреев – презирает и терпеть не может. Мы уезжаем, поэтому мы – евреи (это рассказывает *русская Мариша.- М.К.*). Кто остаётся – жиды». Автор «Опыта и лепета» показывает, как инфицируются юдофобией (в числе прочих социальных недугов) *дети*. И ещё:

сокурсник Вити по философскому факультету Боровков, человек вовсе не одномерный, к тому же женатый на еврейке, убеждён, что «евреев нужно постепенно свести в тот уровень нашего общества, который никак не может влиять на нашу жизнь. Куда-то ниже чукчей». Что ж, именно такую политику в отношении евреев и проводила «очень правильная» советская власть, и это ещё в лучшем случае.

В результате чета Новиковых принимает решение уехать в Израиль. К сожалению, Витя умирает незадолго до планировавшегося отъезда, и Марина одна реализует принятое сообща решение... Таков выстраданный ответ героев Полякова на свинцовую мерзость советской жизни.

Роман густонаселён. Это поистине *групповой* портрет, или – выразусь иначе – широкий разрез коммунистического социума в разные периоды его бытования (так сказать, «от шабата до шабата», как именуется ежесубботняя аналитическая программа русского канала израильского *ТВ*). Но я не имею возможности сколько-нибудь предметно охарактеризовать эту сторону художественного полотна, сотворённого Борисом Поляковым. Отмечу портретное мастерство автора, как и талант сюжетостроения. Тут есть и моментальные зарисовки, одной фразой (а то даже и одним прицельным эпитетом) дающие яркое представление о персонаже. Таковы малограмотная *учительница истории* (она говорит «делов») и самодостаточная обывательница (Витя называет её «узкотазой»), которая, не затрудняясь, парирует уговоры врача, аргументирующего необходимость оставить ребёнка тем, что «это существо – последнее звено в очень длинной цепи, которая берёт своё начало в неведомой дали». «Делов-то, – равнодушно сказала узкотазая – Таких цепей четыре миллиарда на земле...» Она ещё – «довольно резонно», по мнению Вити, к которому и я не могу не присоединиться, – возразила: «Вот если я помру у вас на столе, тогда ваша (как вам эта

«ваша»? - *М.К.*) цепь действительно прервётся». Резонно-то резонно, а всё ж-таки воротит от здравого смысла этой «кавалерственной дамы», от всей её образованщицкой спеси.

Есть в романе и психологически развёрнутые персонажи, окружающие Витю Новикова: его родные, старшие товарищи, ровесники, любимые женщины. У каждого – своя судьба, свой ракурс отношения к социуму. Особенно подробно разработан характер Витиной бабушки, Соры-Рохл, воспитавшей внука в отсутствие его родителей.

Афоризмы часто слетают с уст той же Соры-Рохл, да и других насельников просторного жизненного пространства «Опыта и лепета». Бабушка: «Вот, пишут о счастье советских людей. Наладчик счастлив, писатель счастлив, Гаганова счастлива. Любопытно, сколько они зарабатывают? И сколько, хотела бы я знать, счастья полагается на тридцатисемирублёвую пенсию?»

Другой персонаж, дядя Марк, сидевший в первой половине 1950-х годов, в одной из бесед со своими молодыми друзьями изрёк: «Опыт учит нас, что социалистическое содержание требует для государства полицейской формы, строгого и особого режима».

Поляков мастерски владеет искусством детали. Портретной. Ландшафтной. Психологической. Я уже упоминал *узкотазую* учительницу истории. А вот словесный портрет жулика Коваленко в эпизоде суда над ним: «Глаза глубоко сидели в черепе. (...) Взгляд был ощутимо тяжёлый; когда он посмотрел в нашу сторону, мне (Вите. - *М.К.*) захотелось поёжиться». А вот воспоминание из детских лет Вити. Он на даче в Вырице, вместе с детсадовскими детьми. Целый день проводит у окна в ожидании бабушки, которая, Витя уже знает, должна появиться из-за какого-то угла. «Стекло холодное. Если лбом к нему прижаться, то перекрёстка не видно из-за струй дождя, скользящих по стеклу». Эти самые струи, в

сочетании с холодным стеклом, проникают в самое сердце читателя, заставляя его сжиматься и биться медленнее.

Пожалуй, пора завершить этот разбор произведения Бориса Полякова, в силу необходимости не всесторонний и фрагментарный. Всё же, полагаю, моё более чем благожелательное отношение к роману достаточно обоснованно.

Судьба романа сложилась неудачно вопреки его объективной значительности. Даже в Израиле, не говоря уже обо всей современной русскочитающей ойкумене, роман так и остался, по сути, келейным чтением немногих ценителей, хотя рассчитан был на многомиллионную аудиторию. И это несмотря на неоднократные попытки его популяризации: тематические литературные вечера в различных городах Израиля, выпуск двух сборников памяти Полякова и даже присуждение писателю (посмертно) литературной премии им. Рафаэли. Помимо этого, роман и сборник «Преодоления» были переданы трём авторитетным московским литературным критикам: Наталье Ивановой (журнал «Знамя»), Игорю Виноградову («Континент») и Льву Аннинскому («Дружба народов»). К сожалению, они никак не отозвались – полагаю, что и не нашли времени для чтения романа.

В результате до настоящего времени роман Бориса Полякова так и остался «нераскрученным», не сделался значимой частью духовной сокровищницы русского XX века. Но я верю, как гласит двустихье чешского поэта-классика Витезслава Незвала, в то, что «не может пропасть,/ Что сказали страданье и страсть». Верю в счастливое будущее «Опыта и лепета», произведения, которое рано или поздно откроют для себя будущие поколения читателей, предпочитающих подлинные художественные ценности модным беллетристическим поделкам.

От редакции:

Считаем уместным напомнить, что мнения авторов не всегда совпадают с мнениями редколлегии нашего журнала.

Михаил Копелиович родился в Харькове в 1937 году. Образование высшее техническое. Печатается с 1961 года, в СССР под псевдонимом М. Санин. В Израиле с 1990 года. С этого времени публикуется под своей фамилией. Издал в Израиле четыре сборника литературно-критических, кинокритических и публицистических статей. Имеет более 400 публикаций в различных периодических изданиях: советских, российских, израильских. Печатался и в нашем журнале.

ВЛАДИМИР ФРУМКИН

ДВЕ ИСТОРИИ, СВЯЗАННЫЕ С ОКУДЖАВОЙ

Недавно московский журнал «Лехаим» предложил мне поговорить за виртуальным круглым столом о еврейской теме у российских поэтов-певцов.

Честно говоря, оно застало меня врасплох. И вот почему: тема эта была в СССР практически запретной, и обращение к ней авторов неподцензурного «магнитиздата» воспринималось мной не изолированно, а в контексте других тем и мотивов, бросавших вызов официальной культуре. Тем не менее, песни «с еврейским уклоном» неизменно оказывались в программе моих американских и канадских лекций-концертов, проходивших в русскоязычных, англоязычных и смешанных аудиториях. Действовали они на публику неотразимо. И более всего – такие вещи Галича, как «Засыпая и просыпаясь», «Рассказ, который я услышал в привокзальном шалмане» или «О том, как Клим Петрович выступал на мининге в защиту мира».

Обращаясь к еврейской тематике, наши барды, как правило, избегали стилизации под еврейские национальные мелодии. Сейчас могу вспомнить лишь о четырех исключениях, где еврейский «музыкальный акцент» инкрустирован в ткань песни: «Поезд. Памяти С.М. Михоэlsa» и «Кадиш» Галича, «Бабий яр» Дулова на стихи Евтушенко и кимовский «Ерусалаим».

Полагая, что читателям «Времени и места» интересен не только чисто еврейский, но и израильский аспект еврейской темы, я хочу рассказать о дружеской полемике, которая случилась у меня с профессором МГУ Н.А. Богомоловым по поводу стихотворения Окуджавы, написанного и ставшего песней в Иерусалиме в декабре 1992 года. Мелодию к этому стихотворению сочинила

израильтянка Лариса Герштейн, и новорожденная песня была исполнена Ларисой и Булатом перед иерусалимской публикой:

Рахели

*Сладкое бремя, глядишь, обернется копейкою:
кровью и порохом пахнет от близких границ.
Смуглая сабра с оружием, с тоненькой шейкою
юной хозяйкой глядит из-под черных ресниц.*

*Как ты стоишь... как приклада рукою касаешься!
В темно-зеленую курточку облачена...
Знать, неспроста предо мною возникли, хозяйюшка,
те фронтовые, иные, мои времена.*

*Может быть, наша судьба, как расхожие денежки,
что на ладонях чужих обреченно дрожат...
Вот и кричу невпопад: до свидания, девочки!
Выбора нет! Постарайтесь вернуться назад!...*

Далее – выжимки из моей переписки с проф. Богомоловым (В.Ф. и Н.Б.), состоявшейся 26 февраля-1 марта 2009 года после получения мною сатвы Николая Алексеевича «Так ли просты стихи Окуджавы?».

В.Ф. Отдаю должное виртуозности анализа "Сладкого бремени", обилию привлекаемого материала, чуткости Вашего слуха. Однако то, как Вы толкуете отношение автора к героине стиха, меня не убеждает. Вы пишете, что «с одной стороны, она изображена милой, трогательной и очень женственной, а с другой — подчиненной тому бесчеловечному состоянию вещей, когда судьбы людей ломаются не железной необходимостью истории, против которой невозможно выстоять и от которой невозможно уйти, а многообразными идеологически окрашенными мифами».

Далее у Вас получается, что то, ради чего эта девочка надела темно-зеленую курточку, является частью "той глобальной лжи, на которой покоится так много в современном мире".

Неужели в этом мире нет ничего, что нуждается в защите с оружием в руках именно в силу «железной необходимости истории»?

Вспомните стихи, которые Окуджава написал чуть позже под впечатлением от поездки в Израиль. Ну хотя бы этот:

Вы говорите про Ливан...

Да что уж тот Ливан, ей-Богу!

*Не дал бы Бог, чтобы Иван
на танке проложил дорогу.*

*Когда на танке он придет,
кто знает, что ему приспичит,
куда он дула наведет
и словно сдуру что накличет.*

*Когда бы странником – пустяк,
что за вопрос – когда б с любовью,
пусть за деньгой – уж лучше так,
а не с буденными и кровью...*

Или этот:

*Тель-авивские харчевни,
забегаловок уют,
где и днем, и в час вечерний
хумус с перцем подают.*

*Где горячие лепешки
обжигают языки,
где от ложки до бомбежки
расстояния близки...*

Необходимость защиты полюбившейся поэту земли от танков и бомбежек вряд ли могла видаться (или ощущаться) Окуджавой как один из "идеологически окрашенных мифов", как часть "глобальной лжи". Эти два стихотворения перекрывают (для меня, во всяком случае) Ваши параллели с Маяковским (И потянуло порохом от всех границ), "Комсомольской богиней" Булата и другие интертекстуальные экскурсы. Кстати, "Какой струны касаешься прекрасной" (из «Ну чем тебе потрафить, мой кузнечик?») грамматически ближе к "Сладкому бремени" («как приклада рукою касаешься!»), чем к "прикоснулись к кобуре" из «Комсомольской богини». Да еще и цвет почти совпадает: «В темно-зеленую курточку облачена " – «твоих зеленых братьев и сестер"...

Н.Б. Вы задаете сложные вопросы, на которые не вдруг ответишь.

Надеюсь, Вы не подозреваете меня в неприязни к Израилю. Я был там дважды, причем первый раз – не избавившись от давления разнообразной пропаганды, далеко не только советской... Оба раза на меня Иерусалим (а в других местах я специально и не бывал) произвел сильнейшее впечатление, частью которого было физическое ощущение спокойствия и какой-то умиротворенности в еврейской части и нависающей опасности в арабской. Так что в принципе я (и тут разногласий с Окуджавой никаких нет) на стороне Израиля.

Но в частностях и подробностях, которые вплетаются и в "идеологически окрашенные мифы" и в "глобальную ложь", далеко не всегда могу разделить официальную политику этой страны... Прежде всего, конечно, есть первый план стихотворения, умиление и восхищение его героиней. Довольно очевиден и второй: нельзя женщине, будущей матери, быть на войне и носить автомат. То, что

ее в это вовлекают, – уже само по себе нечестно. А то, что она делает это по внушению, кажущемуся ей самой убеждением, – еще хуже. Конечно, речь идет не о конкретных обстоятельствах, когда, возможно, и не обойтись без женщин с автоматами, а в общечеловеческом (простите штамп, но тут он, кажется, работает) смысле всей ситуации.

В.Ф. Интересно, услышала бы Дина Рубина в этом стиховорении то, что услышали Вы: "нельзя женщине, будущей матери, быть на войне и носить автомат", вовлекать ее в это – нечестно, а внушать – еще хуже. Она мне рассказывала, как ушла ее юная дочь Ева служить в армию, и что она думала и чувствовала по этому поводу...

Н.Б. Вы знаете, я ведь и не пытался сформулировать свое отношение к Израилю (равно как и к другим многочисленным ситуациям подобного рода). Я хотел понять, что думал Окуджава. И мне кажется, хотя вполне возможно, что я и ошибаюсь, он видел ситуацию приблизительно так, как я описал. Но видел, конечно, как поэт, а не как политический мыслитель, и все у него неоднозначно.

В.Ф. Если Вам не надоело, позволю себе еще одну ремарку относительно Вашей трактовки "Сладкого бремени". До отъезда из СССР я относился к проблеме "женщина на войне" примерно так же, как и Вы. Цитирую: "Прежде всего, конечно, есть первый план стихотворения, умиление и восхищение его героиней. Довольно очевиден и второй: нельзя женщине, будущей матери, быть на войне и носить автомат. Это дело мужчин".

Живи я последние 35 лет в России, я бы, наверное, подписался под этой Вашей фразой. Но я живу в Америке, где в армию записываются добровольно, и где само собой разумеется, что правом служить в армии обладают и мужчины, и женщины.

В России о военнослужащих обычно говорят: "наши

солдаты", "наши ребята" и т.п. В Америке – "our men and women in uniform". Women, правда, на передовую, в окопы, в рукопашную не посылают. Насколько мне известно, в Израиле – тоже.

Летняя русская школа в Вермонте, где Булат и Оля провели два лета (1990 и 1992), снимала помещение у Норвичского университета, который является частной военной школой. Кадеты (юноши и девушки) учатся в ней 4 года, после чего могут поступать в государственные военные академии. Мы общались практически каждый день, и я не помню ни одного случая, чтобы Булат удивился, усомнился или возмутился тем, что девочки обучаются по той же программе, что и мальчики, и что они впоследствии будут служить в армии, на флоте или в ВВС. Булат был открыт новым идеям, пристально и спокойно всматривался в непривычную для себя жизнь и не спешил с выводами. Он явно превосходил в этом отношении некоторых своих коллег, российских писателей, с которыми мне довелось встретиться в США...

Вот такой у нас получился разговор. Читатель получит более полное представление о позиции и аргументации Н. Богомолова, если раскроет его книгу «Русская поэзия от Пушкина до Кибирова» (Москва, НЛО, 2004) и прочтет главу «Так ли просты стихи Окуджавы?».

А теперь – другая история, связанная с Окуджавой.

«ПОЭМА О ДАВИДЕ»

Поэтическая шутка

Незадолго до отъезда из Вермонта Булат, загадочно усмехаясь, вручил мне исписанный с обеих сторон листок со стихотворением, посвящённым Васе Аксёнову. Дело было в конце июля 1990 года, незадолго до окончания

занятий в Русской летней школы при Норвичском университете, куда Окуджаву и Фазиля Искандера пригласили в качестве почетных гостей.

Однако – по порядку.

Ещё в 1989 году в 105-м номере эмигрантского журнала «Время и мы» появилась публикация под названием «Гусар с гитарой». В редакционном примечании говорилось, что это – журнальный вариант главы из новой книги Давида Шраера-Петрова «Москва златоглавая», и что основана книга «на воспоминаниях о реальных событиях, происходивших с известными писателями, артистами, учеными, политическими деятелями».

Похоже, однако, что безусловно реальны здесь были только имена этих людей: с событиями дело обстояло посложнее. Особенно с теми, в которые вовлечен главный герой главы, Булат Окуджава.

Вот один из эпизодов с участием «гусара с гитарой» – драматический, кульминационный:

«Я не искал встречи с ним. Он сам приехал в мой Ленинград весной 1962. Я разыскал его в номере гостиницы «Европейская». Он отворил дверь, отпрянув, когда увидел меня. Я шагнул в комнату, пренебрегая его защитно протянутой рукой. Моя правая рука сжимала финский нож. Из окна видна была Театральная площадь в липах. И Пушкин. «Только не при нём», – сказал Булат, ужаснувшись, на что я решился. Я подумал, что он о Пушкине. Но взгляд его показывал в другую сторону. На диване спал мальчик. «Пойдём со мной на мой вечер. И ты всё услышишь. Тогда решай сам. Но только не при нём...»

Тут многое вызывает недоумение. Начиная с места действия. Окуджава в те годы обычно останавливался в более скромной гостинице – «Октябрьская» на площади Восстания возле Московского вокзала. Удивляет и то, что из окна «Европейской» автор увидел «Театральную площадь в липах». Шраер, коренной ленинградец, не мог не знать, что из гостиницы «Европейская» видна площадь

Искусств, а не Театральная, где нет ни лип, ни Пушкина. Что это? Заведомая, намеренная «липа», намёк читателю, чтоб не принимал всё слишком уж всерьёз? К примеру, то, что весь этот сыр-бор разгорелся из-за Оли Батраковой, за «увод» которой автор якобы пришёл мстить коварному совратителю. Ведь она уже два года как была замужем за другим, так что, как резонно замечает Дмитрий Быков, «естественней было бы выяснять отношения с ним»! А это мелодраматическое, дважды произнесенное «Только не при нём»?..

Но «был ли мальчик»? По словам того же Быкова, досконально изучавшего биографию Окуджавы, «сына он с собой не брал (мальчик вообще никогда не ездил с ним на гастроли)».

На сочинение Шраера-Петрова Окуджава ответил, как и положено поэту – стихами. Откуда взялось посвящение? Аксёнов часто бывал у нас в Норвиче (это факт, не предположение). Он приезжал, когда у нас гостили Булат и Фазиль (тоже факт). Вероятно, зашел разговор о «Гусаре с гитарой» (почти наверняка). Не исключая, что именно Вася привез в Норвич номер журнала «Время и мы», Булат прочёл, поделился впечатлениями с Васей – и решил вплести его в свою пародию, сделав его главным персонажем – злодеем-соблазнителем – «Главы второй».

Откуда мог почерпнуть Булат сюжет этой «главы»? Как видно, Аксёнов захватил с собой в Норвич не только «Время и мы» с «Гусаром», но и вышедшую в том же 1989 году в Нью-Йорке книгу Шраера-Петрова «Друзья и тени. Роман с участием автора». Там есть глава «Король свинга в русской прозе. Аксёнов». Из нее мы узнаём, что автор познакомился с будущим «королём», когда тот был еще совсем молод. Оба они учились в Первом медицинском институте в Ленинграде. Стычка между ними случилась в самом начале знакомства, на домашней ночной вечеринке после концерта студенческого джаза, в котором Шраер «”лобал” на ударных и кое-как пел» (Кстати, в жаргоне

«лабухов» (музыкантов) есть слово «лабать», а не «лобать»). Но произошла стычка на сей раз не из-за шраеровской девицы и без финского ножа:

«Крепыш (Аксёнов. – В.Ф.) уже не раз делал попытки пригласить подружку Феде. Но в ответ на его «Сбачаем бугешник!» Ася виновато улыбалась и смотрела на Федю. «Ася почти не танцует», – терпеливо пояснял Федя. «Почти или совершенно?» – затягивал Крепыш шипящие, ухмылялся и вытаскивал из угла комнаты свободную «чувиху»...

...Крепыш протанцевал всю ночь с Асей. О, как он был доволен! Жёсткость исчезла с его лица.

Уже под утро он растолкал меня, чтобы попрощаться: «Старик, теперь будем видеться почаще». Ася глядела на Крепыша с обожанием. «Ты с Федей попрощайся заодно», – привстал я с тахты, стараясь не шуметь. Остальные спали. «Не хочу будить», – ответил Крепыш. Угрюмая нотка послышалась в его голосе. «А ты захоти. С ней захотел. Захоти с ним. Хотя бы из вежливости». – «Не напирай, старик», – начал он злиться. «Выйдем на кухню?» – «Выйдем. Подожди, Ася».

Мы вышли на кухню. Капала вода. Как метроном перед боем. «Ты нарочно всё устроил. Федю напоил. Асю увёл. Это подло, Крепыш». – «И в его постель Алку положил?» – «И Алку тоже». – «Ты забываешься, старик. Я Магадан прошёл». – А я – все отделения милиции на Выборгской стороне. Хочешь два раунда?» – «Ты боксёр?» – «Второй разряд». – «Хорошо, – тихо ответил Крепыш. – Я разбужу его. Ася, пойдём прощаемся с Федей, как рекомендует Давид». Она шла за ним, как замороженная».

Неважно, с ножом или без ножа, результат один и тот же: победителем неизменно выходит Автор.

В той же «аксёновской» главе из романа «Друзья и тени» проглядывает мотив, который мог подсказать Булату «Главу третью» его ответа Шраеру:

«Выпьём, Давид?» – предложил Крепыш. Мы смешали коктейли из апельсинового сока и джина. «Обезьянья шкура», – любимый напиток Хэма», – пояснил он. «Пили вместе?» съязвил я. – «Непременно выпьем», – ответил он жёстко и убеждающе.

Ответ получился веселый, пародийный, фантазия поэта разыгралась, перехлестнув фантазию прозаика и нарастая от главы к главе.

Впрочем, судите сами.

МЕМУАРЫ ДАВИДА ШРАЕРА

Глава первая

Я был влюблён в одну девицу.

Я к ней гонял не раз в столицу
из Питера. Пять лет подряд.

Как вдруг в стихи вмешалась проза,
и ту девицу из-под носа
без долгих слов увёл Булат.

Я разыскал его в отеле.

Он бледен был. В тщедушном теле
переливались страх и грязь.

Он умолял о милосердьё,
он не хотел позорной смерти
и ныл, гитарой заслонясь.

Я вытащил кинжал из ножен.

Он понял: расплатиться должен,
и извивался, и просил.

Я был сильней и выше ростом,
да вот врождённым благородством
святую ярость погасил.

И я оставил грязный номер,
где гитарист почти что умер
(и реноме его в золе)...

Я не убийца и не гаер.

Пусть знают все, что значит Шраер.
А женщин много на земле.

Глава вторая

Я у Аксёновых в раю
живал не раз, бывало.
Там жизнь согбенную мою
Мгновенно распрямляло.
Их дом изысками пропах,
и, глаз не подымая,
борщом из русских черепах
меня кормила Майя.
Но вот я посетил их вновь.
(Я был с одной красоткой.)
О ты, последняя любовь!..
О стол с едой и водкой!..
Отправив Майю погулять,
стал Вася яствами прельщать:
пора, мол, насладиться.
А я голодный, как всегда,
а тут – питьё, а тут – еда,
и голова кружится.
Покуда я жевал и пил,
он комплименты ей твердил
и не один, а тыщи.
Ах, мне бы с нею наутёк,
да оторваться я не мог
от выпивки и пищи.
И вот я ем своё люля,
то опрокину, то налью
(часы остановились)...
А он ей шепчет: тру-ля-ля,
она в ответ: лю-лю, лю-лю...
Конечно, сговорились
и вмиг уединились.

Вернулась Майя ровно в шесть
(ей тоже хочется поесть:
она была на рынке).
Ах, я не в силах перенести
подобные картинки!

Глава третья

Мой старый друг Хемингуэй
на свадьбе побывал моей,
на самой громкой в мире.
Потом, дождавшись тишины,
меня лишил моей жены
и скрылся на Памире.
И я один живу с тех пор.
Она же пишет мне с тех гор:
мол, зря ты злишься, Шраер,
я счастлива со стариком,
не помышляю ни о ком,
а ты — болван и фраер.

Б. Окуджава 30.7.90 Норвич

Владимир Фрумкин — музыковед, журналист, эссеист, выпускник теоретико-композиторского факультета и аспирантуры Ленинградской консерватории. В 1974 эмигрировал в США, работал в Оберлин-колледже (штат Огайо) и Русской летней школе при Норвичском университете (штат Вермонт). С 1988 до 2006 года — сотрудник Русской службы "Голоса Америки" в Вашингтоне. Среди опубликованных работ - "От Гайдна до Шостаковича", два сборника песен Б.Окуджавы на русском и английском языках с нотной строчкой и буквенным обозначением аккордов, "Певцы и вожди" ("Деком", 2005).

СЕМЕН РЕЗНИК

ПАВЛОВСКАЯ СЕССИЯ

Глава из книги

От автора.

В номерах 1 (29) и 2 (30) журнала «Время и место» за прошлый год были опубликованы три главы из моей книги **«Против течения: Академик Ухтомский и его биограф. Историко-документальная сага с мемуарным уклоном».**

Полностью сага публикуется в сетевом журнале «7 искусств», в толстом литературном журнале «Мосты» (Франкфурт, Германия), и совсем недавно вышла отдельным изданием в Санкт-Петербурге.

В книге жизнь основных персонажей протекает на фоне судьбоносных исторических событий, увязывается с широким кругом деятелей науки, искусства, религии, партийной и государственной элиты. Об одном из событий, круто повлиявших на судьбу науки в СССР, рассказывается в публикуемой главе.

1

Вскоре после войны, усилиями учеников Ухтомского стало выходить его шеститомное собрание сочинений. Академик Л.А. Орбели, обладая большой властью в науке, не допустил включения этого издания в план издательства Академии наук. Собрание сочинений выходило в издательстве ЛГУ, менее престижном и с куда более скромными ресурсами. Издание растянулось на 18 лет – с 1945-го по 1962-й.

Первые тома этого издания выходили, когда Василий Лаврентьевич Меркулов был еще в заключении, участвовать в подготовке Собрания сочинений своего учителя он не мог. Через много лет – к столетию Ухтомского – Меркулов готовил однотомник его

«Избранных трудов» для престижной серии «Классики науки», выпускавшейся издательством «Наука» (так стало называться изд-во АН СССР). В предисловии Василий Лаврентьевич попытался намекнуть на не очень корректные действия Орбели в отношении Ухтомского, но титульный редактор однотомника академик Е.М. Крепс, ученик и сотрудник Орбели, восстал против этого.

Крепс и Меркулов были друзьями – с давних времен, когда вместе хлебали тюремную баланду в пересыльном лагере на Второй речке, под Владивостоком. Но даже лагерная дружба не помогла. Спасая книгу, Меркулов свое предисловие снял. Книга вышла с предисловием более сговорчивого профессора Н.В. Голикова.

Леон Абгарович Орбели входил в первую генерацию учеников И.П. Павлова, был его правой рукой, и после его кончины в феврале 1936 года унаследовал руководство всеми павловскими научными учреждениями. Избранный академиком в 1935 году (одновременно с А.А. Ухтомским), Орбели был введен в президиум Академии, затем стал академиком-секретарем биологического отделения и вице-президентом. Наряду с теоретическими исследованиями, он возглавлял прикладные, под его руководством в 1930-х годах изучались возможности человеческого организма в экстремальных условиях (летчики, водолазы и т.п.). Эти работы имели оборонное значение и привлекли к себе внимание Сталина. Орбели было присвоено звание генерал-полковника медицинской службы – наивысшее для военврача. Поддержка Орбели много значила для развития практически всех направлений биологической науки, в особенности физиологии. Сотни ученых были обязаны ему своим выдвижением. Было немало обиженных и просто завистников.

В августе 1948 года состоялась сессия ВАСХНИЛ, на которой «мичуринец» Т.Д. Лысенко «разгромил» классическую генетику – так называемый менделизм-

морганизм. Разгром был санкционирован Сталиным, о чем Орбели, конечно, знал. Он не появился ни на одном заседании сессии, хотя положение академика-секретаря биологического отделения к этому обязывало.

«Несмотря на то, что Орбели как руководитель ряда физиологических учреждений был вынужден хотя бы формально включиться в "антигенетическую" кампанию, как ученый он отказался в ней участвовать, – подчеркивает его биограф. – От Орбели потребовали не только изменить план генетических исследований [в руководимых им институтах и лабораториях], но и пересмотреть состав своих сотрудников, вплоть до увольнения некоторых из них (Р.А. Мазинг, И.И. Канаев). Орбели не только не сделал этого, но, проявив немалое мужество, ввел в свой штат уволенного из Ленинградского университета генетика М.Е. Лобашова. Однако, вопреки мнению Орбели, в Колтушах все-таки сняли с пьедестала бюст Г.Менделя, была прекращена работа с мушками дрозофилами».

Здесь напрашивается небольшое отступление.

В 1963 году в редакцию серии ЖЗЛ, где я незадолго перед тем начал работать, пришел профессор, доктор биологических наук А.Н. Студицкий с пухлой рукописью об академике Павлове. Поскольку в серии мне был поручен раздел книг об ученых, то этой рукописью пришлось заниматься мне.

Кто такой Студицкий, я понятия не имел, но солидное ученое звание располагало отнести к нему с доверием и почтением. Рукопись была написана темпераментно и достаточно популярно, читалась легко, однако кое-что меня в ней озадачило. Из нее я впервые узнал, что главная заслуга академика Павлова перед наукой и человечеством состояла в том, что он доказал: способность к выработке условных рефлексов усиливается от поколения к поколению, то есть у детенышей условный рефлекс

закрепляется быстрее, чем у родителей, а в третьем поколении – еще быстрее. Иначе говоря, приобретенные упражнением полезные навыки передаются потомству – в полном соответствии с «мичуринским» учением и к посрамлению формальной генетики, созданной Менделем и Морганом. Опыты описывались, выводы И.П. Павлова цитировались.

О Павлове я тогда знал меньше, чем сейчас, но основные представления об условных рефлексах у меня имелись, а вот об их передаче по наследству никогда раньше слышать не доводилось. Я пытался направить рукопись на внутреннюю рецензию, звонил нескольким ученым, с которыми был в контакте, но когда называл имя автора, то натывался на сухой отказ. Это меня озадачило еще больше, так как от таких предложений редко отказывались: сотрудничать с серией ЖЗЛ было престижно, внутреннее рецензирование хорошо оплачивалось. А тут – дружный афронт!

Пришлось разбираться самому.

Оказалось, что профессор Студицкий – личность весьма известная. После разгрома менделистов-морганистов на августовской сессии ВАСХНИЛ он поставил своеобразный рекорд по их «разоблачению». Его залихватская и злобная статья в массовом журнале «Огонек» носила убойное название: «Мухолобы-человеконенавистники». По молодости лет я об этом не знал, но ученые, к которым я обращался, знали и помнили.

О «великом открытии» Павлова выяснилось вот что.

В начале 1920-х годов один из его малоопытных практикантов Н.П. Студенцов (любопытна схожесть фамилий Студенцов и Студицкий!) поставил серию экспериментов по выработке условных рефлексов у нескольких поколений белых мышей. Он обнаружил, что у каждого следующего поколения условный рефлекс закрепляется при меньшем числе повторений. Если в первом поколении потребовалось триста подкреплений,

прежде чем мышки стали по звонку подбегать к кормушке, то в пятом поколении для этого требовалось от пяти до восьми подкреплений!

Доклад Студенцова об этих опытах был раскритикован известным генетиком Н.К. Кольцовым. Он указал, что в опыты, скорее всего, вкралась методическая ошибка. В беседе с Павловым Кольцов подробно развил свою аргументацию, и у него сложилось впечатление, что Иван Петрович с ним согласился. Однако в докладе на международном конгрессе физиологов в Эдинбурге в 1923 году Павлов сообщил об опытах Студенцова. Он даже высказал предположение, что когда он вернется в Петроград, там уже, возможно, появятся поколения мышей, которые побегут к кормушке по *первому* звонку, то есть условный рефлекс, выработанный у их родителей, превратится в безусловный!

На конгрессе присутствовали некоторые генетики, в их числе Томас Гент Морган, создатель хромосомной теории наследственности. Он критически отозвался о выступлении Павлова, ибо, как и его русский коллега Н.К. Кольцов, знал, что благоприобретенные признаки не наследуются и что все попытки доказать обратное неизменно проваливались.

Вернувшись из заграничной поездки, Павлов поручил своему давнему и наиболее надежному сотруднику Е.А. Генике проверить опыты Студенцова. Генике усовершенствовал методику, устранил возможные помехи и выяснил, что первоначальный результат был неверным. Начинающий экспериментатор действовал неумело, но со временем его навыки улучшались, потому и рефлекторная связь у мышей устанавливалась быстрее. То есть не мыши становились более сообразительными, а сам экспериментатор!

Павлов, как и следовало поступить настоящему ученому, опубликовал письмо, в котором говорилось:

«Первоначальные опыты с наследственной передачей условных рефлексов у белых мышей при улучшении методики и при более строгом контроле до сих пор не подтверждаются, так что я не должен причисляться к авторам, стоящим за эту передачу».

Английский перевод его книги «Лекции о работе больших полушарий головного мозга» в это время готовился к публикации в Лондоне. Текст уже был набран, но Павлов отправил в редакцию примечание с настоятельной просьбой включить его в книгу:

«Опыты по наследованию предрасположенности к образованию условных рефлексов у мышей, о которых было вкратце сообщено на Эдинбургском конгрессе физиологов (1923), ныне оценены нами как крайне недостоверные... Пока что вопрос о наследственной передаче условных рефлексов или наследственной предрасположенности к их приобретению должен остаться совершенно открытым».

Результатом этого эпизода, было то, что Павлов проникся большим пиететом к генетике и ее основателю Грегору Менделю. Он настаивал на том, чтобы курс генетики был введен в обязательные программы медицинских вузов, так как с законами наследственности должен быть знаком каждый врач. В начале 1930-х годов, на биостанции в Контушах, Иван Петрович создал лабораторию экспериментальной генетики высшей нервной деятельности и распорядился перед входом в нее установить три бюста: Декарта, Сеченова и Менделя. В лаборатории велись исследования на плодовой мушке дрозофиле – излюбленном объекте генетиков.

О «мухолюбии» Павлова в рукописи А.Н. Студицкого не было ни слова.

Я смог вернуть ему его творение под благовидным предлогом, не сообщая истинной мотивировки отказа. Лысенко был еще в полной силе, сказать автору, что он приписал Павлову лженаучные представления, которых у

того не было, – значило бы нарваться на обвинения в том, что в серии ЖЗЛ засели *менделисты-морганисты, мухолобы-человеконенавистники*.

Понятно, что академик Орбели, к которому после смерти И.П.Павлова перешло руководство биостанцией в Колтушах, не мог согласиться на снос памятника Менделю. Но отстоять его было ему уже не по силам.

2

В 1950 году состоялась объединенная сессия Академии наук и Академии медицинских наук, вошедшая в историю как Павловская. Она проводилась по образцу и подобию сессии ВАСХНИЛ 1948 года. Ее подготовкой руководил лично Сталин. С основными докладами выступили академик К.М.Быков и академик Медицинской академии А.Г. Иванов-Смоленский. Л.А. Орбели – общепризнанный глава павловской школы – был «разоблачен» как антипавловец. Остракизму подверглись академик И.С. Бериташвили (Беритов) (после сессии снятый со всех постов), академик Л.С. Штерн (уже сидевшая на Лубянке по делу Еврейского антифашистского комитета), профессор П.К. Анохин, академик А.Д. Сперанский, которому не помогла даже личная дружба с Лысенко.

Впрочем, Сперанский, с присущей ему находчивостью, сориентировался в обстановке и выступил с такой боевой самокритикой, что в заключительном слове К.М.Быков сказал:

«Я с удовольствием отмечаю желание академика А.Д.Сперанского вскрыть свои ошибки».

Главный удар был направлен на Л.А. Орбели. Его надо было свергнуть с престола, дабы очистить место для «настоящих» павловцев. Больше всего ему было слушать громокипящие разносы из уст тех, кому он дал путевку в жизнь. Как писал мне В.Л. Меркулов, «много значил для

прогресса ученого патронаж Орбели в 1936-1950 г. Многих [он] поднял на щит».

Мало кто из этих многих был в такой мере обязан Леону Абгаровичу, как Эзрас Асратович Асратян. Еще в 20-е годы Орбели помог аспиранту из Еревана перебраться в Ленинград, принял в свою лабораторию, рекомендовал его И.П. Павлову.

«Под руководством Л.А. Орбели Э.А. Асратян с 1928 по 1934 г. выполнил 18 исследований», указывает его биограф Н.А. Григорян. В своих лекциях и трудах Орбели не раз выделял Асратяна как «очень страстного и очень решительного» молодого исследователя. Когда после смерти Павлова Орбели поставили во главе его осиротевших учреждений, не все этим были довольны. Но Асратян был в восторге. Он организовал групповое письмо в поддержку Орбели и первым его подписал. Орбели высоко оценил докторскую диссертацию Э.А. Асратяна, в чем, кстати, с ним был солидарен А.А.Ухтомский, рекомендовал его в члены-корреспонденты Академии наук – избрание тоже было поддержано Ухтомским. А в 1950 году, на Павловской сессии, Асратян со всей своей «страстью и решительностью» обрушился на Л.А. Орбели. Он же стал соредактором (вместе с Э.Ш. Айрапетянцем) спешно изданной стенограммы Павловской сессии.

«После «триумфа» Павловского учения победители разбирали должности и звания. На заседании Биологического отделения Академии наук происходили выборы в академики. Баллотировался член-корреспондент Э.А. Асратян в действительные члены. Его заслуги с трибуны в пышных выражениях живописали перед голосованием члены Отделения – академики. Заслуги и достоинства были беспорны. Выступили почти все. После вскрытия урны с бюллетенями оказалось, что все против! Каждый надеялся, что хоть один будет ~~за~~», пишет С.Э. Шноль в широко известной книге «Гении, злодеи, конформисты отечественной науки».

Об этой пикантной подробности в биографии своего героя Н.А. Григорян не упоминает, а его выступление против Орбели оправдывает тем, что тот «был освобожден от всех своих высоких научных и административных должностей не в результате выступлений Э.А. Асратяна». В этом она, безусловно, права: не Асратян был режиссером спектакля, он лишь хорошо сыграл отведенную ему роль.

О том, какая атмосфера царила на Павловской сессии, можно судить по отрывку из письма ко мне В.Л. Меркулова. Сам *пораженный в правах* на ней не присутствовал, но он хорошо знал многих участников Сессии и, как историк науки, детально изучил относящиеся к ней материалы:

«Вы правы – если жить мирно с сукиными детьми, приспособленцами и иной челядью от науки, то можно превратиться в прохвоста самому! Когда-то (в 1963 г.) покойный ныне академик Н.Н. Аничков, вспоминая о Павловской сессии 1950 г., где он был с С.И. Вавиловым сопредседателем, запер дверь кабинета и стал откровенничать со мною: –Жили мы в страшное время, все боялись, стали трусами и подлецами. Вот я любил и уважал Леона Абгаровича Орбели. Его критиковали, унижали, оплевывали! Я слушал речи критиков и боялся выступить в его защиту. Был я – подлецом”».

С.И. Вавилов должен был председательствовать на Павловской сессии как президент Академии наук; Н.Н. Аничков сопредседательствовал как президент Академии медицинских наук. Уклониться от навязанной им роли они не могли: оба помнили о неявке Л.А. Орбели на сессию ВАСХНИЛ 1948 года и видели, чем это для него обернулось. С.И. Вавилов, конечно, помнил об участии своего брата академика Н.И. Вавилова, «разоблаченного» Лысенко и заморенного голодом в саратовской тюрьме.

В своем вступительном и заключительном слове на Павловской сессии С.И. Вавилов усердно славословил

корифея всех наук товарища Сталина. Что творилось в его душе, вероятно, навсегда останется тайной. В его скупых дневниковых записях Павловская сессия оставила три малозаметных следа. В воскресенье 25 июня (почти за две недели до открытия Сессии), на своей даче в Можжинке, С.И. Вавилов записал:

«Полно цветов, клубники, земляники. Бегают маленький [внук] Сережа, в которого ум влезает все больше. А я искалеченный, еле дышу, проверяю –вступительное слово” [на Павловской сессии], смотрю журналы, впереди Энциклопедия, бездарные казенные рукописи. Деквалифицируюсь, глупею, слабею. Философия? Павловская».

В воскресенье 2 июля, в час дня, уже после Сессии:

«Почти всю неделю, днем и вечером перед глазами наполненный зал Дома ученых. Ломятся как на футбол. Физиологическая сессия. Утром (через многие часы) на сетчатке рельефные отпечатки человеческих лиц с глазами и ушами. Это давнее мое наблюдение. Многие сотни павловских систем, многоголовой бездарности. Вспоминаю 40 лет назад, –Благородное Собрание”. 12-й съезд естествоиспытателей, я – студент первого курса – распорядитель. В задних рядах на эстраде. Павлов вроде седого льва. –Естествознание и мозг”. Новое сообщение, гениальные слова, которые тогда плохо понимал, но чувствовалась –молния”. А сейчас бездарная, аморальная толпа без новых мыслей. <...> В голове у меня – хаос, усталость, меланхолия».

И 9 июля:

«Еще неделя. Разбитый и одурелый. Физиологическая сессия. Языкознание. Востоковедение. Алихановы. Сотни неприятных мелочей и в голове ничего творческого».

Это все...

Краешек тайны, которую С.И. Вавилов унес с собой, мне кажется, открывается в одном малоизвестном эпизоде, относящемся к тому же времени.

В издательстве Академии наук готовилась к печати биография Гете. Написала ее известная писательница Мариэтта Шагинян. Автор популярных романов, серии книг о семье Ульяновых, она была также знатоком немецкой культуры, философии, литературы (училась на философском факультете Гейдельбергского университета).

Редактор издательства обнаружил в ее рукописи страшное упущение. В книге отсутствовала знаменитая оценка товарищем Сталиным сказки М. Горького «Девушка и смерть»: *«Эта штука сильнее – Фауста» Гете. Любовь побеждает смерть*. Однако писательница, вместо того, чтобы благодарить редактора за ценное замечание и с готовностью восполнить пробел, попыталась ему объяснить, что, при всем своем преклонении перед гениальными суждениями товарища Сталина, в этом конкретном пункте она с ним не совсем согласна. Поэтому цитировать про «Девушку и смерть», которая выше «Фауста», она не может. (Между прочим, есть сведения, что Горький был оскорблен высказыванием Сталина о своей сказке, посчитав его издевательским). Спор перешел в кабинет заведующего редакцией, затем главного редактора, затем директора издательства. Удивительно, что на упрямую авторшу никто не донес. Шагинян стояла на своем. Спор был перенесен в кабинет президента Академии наук: административно издательство подчинялось ему.

Мариэтта Шагинян была наслышана о Сергее Ивановиче Вавилове как о тонком, широко образованном интеллектуале, хотя, возможно, не знала, что «Фауст» был с юности любимым произведением Сергея Ивановича. Он перечитывал его бесчисленное число раз в оригинале и русских переводах, многие страницы знал наизусть, собирал различные издания «Фауста» – в его личной

библиотеке их было не меньше 15-ти. В молодости, в игривом настроении, Сергей Вавилов даже сочинял стихотворные пародии на Фауста и Мефистофеля. Словом, мало кто мог с такой ясностью осознавать степень неуместности и даже нелепости «этой штуки» в монографии о Гете, как Сергей Иванович Вавилов.

Пока директор издательства *докладывал вопрос* президенту Академии, писательница с надеждой вглядывалась в его мягкое интеллигентное лицо с умными усталыми глазами и видела, как оно – каменеет! Она поняла, что и здесь не найдет поддержки.

Это была последняя инстанция, выше идти было некуда – не самому же Сталину писать жалобу!

Ее охватило отчаяние. От сознания полного бессилия она разрыдалась.

Окаменевшее лицо Сергея Ивановича мгновенно ожило, он быстро встал из-за своего президентского стола, подошел к ней, молча поднял ее за руки, так же молча вывел в заднюю комнату, плотно прикрыл дверь и тихо сказал:

-- Мариэтта Сергеевна, дорогая, не расстраивайтесь, успокойтесь! Помните, что сказал Савельич Гриневу, когда Пугачев потребовал, чтобы тот поцеловал ему руку? «Плюнь, батюшка, да поцелуй!» Так и вы. Плюньте и поцелуйте!

«Эта штука» была вставлена в текст, книга вышла без промедления – в том же 1950 году. Из последующих изданий она исчезла.

Эпизод мне известен из рукописи Вл. Келера о С.И. Вавилове, которую мне, как своего рода специалисту по вавиловской теме, присылали на внутреннюю рецензию. Книга была издана в 1975 году, но данный эпизод при редактировании был вырублен.

Думаю, что он приоткрывает завесу над тем, что творилось в душе С.И. Вавилова, вынужденного участвовать в охоте на ведьм, которая называлась

«Павловской сессией» двух академий. В своих речах, вступительной и заключительной, он *целовал руку* корифею всех наук, не сказав ничего конкретного ни о гонителях, на ней торжествовавших, но о гонимых, в числе которых был достаточно близкий ему человек, недавний вице-президент академии Л.А. Орбели.

Сергей Иванович пережил Павловскую сессию всего на полгода. Он умер от разрыва сердца в январе 1951 года, не дотянув до 60-ти лет.

А Мариэтте Сергеевне Шагинян суждена была долгая жизнь. В эпоху Хрущева-Брежнева она стала яростной сталинисткой. Она почти потеряла слух и не расставалась со слуховым аппаратом. Появляясь на людях, сгорбленная, сморщенная, с седыми патлами, старуха сердито вслушивалась в разговоры окружающих и если проскальзывала фраза о «беззакониях периода культа личности», как фурия, бросалась в бой! Брызгая слюной, сверкая ожившими глазками, размахивая длинными костлявыми руками, она начинала кричать о том, какое великое государство создал великий Сталин и как тупы и ничтожны пигмеи, смеющие его порицать. Когда кто-то пытался ей возразить, она демонстративно выдергивала из ушей свой слуховой аппарат, не желая ничего слышать.

3

После Павловской сессии Орбели был снят со всех постов. За ним оставили лишь небольшую лабораторию физиологии в Институте имени П.Ф. Лесгафта, входившем в состав Академии педагогических наук. Стремясь увязать работу лаборатории с профилем института, Орбели сосредоточился на высшей нервной деятельности детского организма. После того, как профессор Педиатрического медицинского института А.Ф. Тур предоставил ему клиническую базу для опытов и наблюдений, Орбели подготовил детальный план работы. Но его требовалось

утвердить в Научном совете по проблемам физиологического учения академика И.П.Павлова.

Это был Совет Победителей, созданный после Павловской сессии: председатель – академик К.М.Быков, заместитель председателя – профессор А.Г. Иванов-Смоленский, ученый секретарь – Э.Ш. Айрапетянц, который играл активную роль при подготовке сессии и был соредактором ее молниеносно изданной стенограммы.

В Объяснительной записке к своему плану Орбели, усвоивший новые правила игры, усердно *целовал руку* властелину, униженно признавал свои «ошибки», но новым хозяевам жизни этого было мало. Обсуждение вылилось в глумление озлобленных шакалов над тяжело раненым, но все еще опасным львом. Заседание Научного совета длилось три дня. Стенограмма сохранилась в бумагах Орбели, его ученик профессор Л.Г. Лейбсон имел возможность с ней ознакомиться.

«Врагов Орбели пугало, что, пока он работает даже на маленьком участке, он может добиться восстановления своего прежнего положения и лишиться их тех преимуществ, которые ими завоеваны. Именно эту мысль высказал в своей разносной речи один из наиболее ярых оппонентов Орбели – Э.Ш. Айрапетянц. Он сказал, что все поведение Орбели можно объяснить тем, что тот рассчитывает повернуть ход истории к тому положению, которое было до объединенной [Павловской] сессии. Позиция Орбели – это позиция реванша обанкротившегося руководителя. Реванш будет дан, считает Орбели, если не через полгода, то через год. Орбели надеется, что все, кто сейчас стоит во главе физиологии, провалятся и снова придут в одиночку или сообща просить его возглавить основные физиологические учреждения».

План работ Научный совет признал неудовлетворительным.

Орбели, поддерживаемый профессором А.Ф.Туром, продолжал уже начатые исследования и вскоре получил

первые интересные результаты. Через полтора года (в декабре 1952-го) он подвергся новой экзекуции на заседании того же Научного совета. В порядке «самокритики» Совет признал свои прежние нападки на Орбели *недостаточными* и постановил перенести критику его ошибок в широкую печать. 16 января 1953 года в «Правде» появилась статья заведующего отделом науки ЦК партии Юрия Жданова. В ней говорилось: «Наиболее активными противниками павловской физиологии выступали академик Л.А. Орбели, а также академик И.С. Беритов, проф. П.К. Анохин и некоторые другие физиологи».

Всего три дня назад страну потрясло сообщение ТАСС о кремлевских врачах-отравителях. Арест Орбели казался неминуемым. Но власти почему-то медлили, и нетерпеливый Айрапетянц начинает операцию по его окончательному изничтожению.

«Он организует заседание Общества физиологов, биохимиков и фармакологов в Ленинграде, на котором выступает с докладом о 8-й сессии Научного совета. В повестку дня включен также доклад Д.А. Бирюкова — субъективных ошибках академика Л.А. Орбели». Речь Айрапетянца полна нескрываемой ненависти к Орбели. Он утверждает, что Орбели идеалист, дуалист, враг павловского учения, что он —но существу, собственно говоря, никогда не понимал и не усвоил павловской идеологии”<...>. С лютой злобой оратор сообщает реплику Орбели, которую он —обязан довести до сведения собравшихся, ибо это и есть истинная тактика и стратегия академика Орбели. Он сказал: “Через два года вы убедитесь, что я был прав”. Вот в этой-то реваншистской позиции, — считает Айрапетянц, — все дело».

Заседание состоялось 23 марта 1953 года. «Корифей всех наук» уже лежал рядом с Лениным в мавзолее, меньше двух недель оставалось до освобождения «врачей-отравителей». Суровый критик опоздал!

Формально Айрапетянц не был учеником Орбели. Он учился в Ленинградском университете, стал физиологом под руководством А.А. Ухтомского; когда был создан Институт физиологии при ЛГУ, коммунист Айрапетянц был назначен заместителем директора, то есть политкомиссаром при Ухтомском. Но он был одним из тех, кого Орбели *поднял на щит*, причем поднял из грязи. Есть сведения, что в начале войны Айрапетянц серьезно проштрафился, ему грозил трибунал. Орбели вытащил его из беды, принял на свою кафедру в Военно-медицинской академии, сделал своим адъютантом. Айрапетянц всюду его сопровождал. Оставшаяся в блокадном Ленинграде профессор М.К. Петрова, бывшая возлюбленная академика Павлова, записала в январе 1943 года:

«Прилетел, наконец, из Москвы так долгожданный наш любимый шеф Л.А. Орбели. Прилетел он со своим адъютантом Э.Ш. Айрапетянцем, его сотрудником по Военно-медицинской академии. Этому Айрапетянцу и его жене В. Балаксиной я всегда особенно симпатизировала».

К счастью для Марии Капитоновны, она не дожидаясь Павловской сессии, не стала свидетельницей того, как было профанировано и извращено учение ее Ивана Петровича, не увидела, с какой хищной боеготовностью адъютант, которому она «всегда особенно симпатизировала», кинулся клевать печень «нашему любимому шефу».

В.Л. Меркулов знал (а теперь стало общеизвестным), что Э.Ш. Айрапетянц играл ведущую роль при подготовке Павловской сессии. Это он написал речь академику К.М. Быкову, которую редактировал Сталин. Это он из суфлерской будки нашептывал ведущим действующим лицам спектакля, разыгравшегося на объединенной сессии двух академий, что и как говорить. Он же после сессии особенно рьяно пытался доклевать тяжело раненого льва.

Вопреки его стараниям, после смерти Главного Режиссера и Постановщика того зловещего спектакля

накал разоблачений стал спадать. Орбели смог расширить масштаб исследований и превратить скромную лабораторию в институт Лесгафта в самостоятельный институт. Но организаторы недавнего погрома не намеревались уступать завоеванных позиций. Вопреки опасениям Айрапетянца, у постаревшего и потерявшего здоровье льва не было ни сил, ни возможностей для реванша; приходилось делать вид, что старое забыто. Но он, конечно, все помнил!

4

В 1955 году, рано утром 6 октября, Василий Лаврентьевич Меркулов навестил больного Орбели, которого не видел со дня ареста, то есть больше 18-ти лет. Орбели «с горечью говорил, как Сессия 2-х академий доказала ему, что он – умный дурак, и т.д. И он тоже верил, что его ученики не отвернутся от него, а что вышло??»

Два года спустя Василий Лаврентьевич пришел к академику Орбели с рукописью биографии Ухтомского. Положил папку на стол и сказал:

-- Леон Абгарович! Вы много горя причинили моему учителю Алексею Алексеевичу Ухтомскому. У вас есть возможность искупить вину перед ним. Помогите издать его биографию!

Побагровевший Орбели, в генерал-полковничьем мундире, который, кажется, никогда не снимал, вскочил из-за стола, стремительно зашагал из угла в угол по кабинету, затем резко сказал, указывая на рукопись:

-- Оставьте!

Вернул он ее со своим предисловием:

«В числе лиц, жизнь которых протекала в неустанных научных исканиях и являла собой во многих отношениях хороший пример для молодых научных работников и студентов, А.А. Ухтомский занимает видное место. <...> Автор этой книги, Василий Лаврентьевич Меркулов,

ученик и последователь А.А. Ухтомского, был наряду с этим и другом покойного и хорошо знаком с внутренними переживаниями и образом жизни и деятельности Ухтомского. Я считаю, что эта книга окажет большое и хорошее влияние на нашу подрастающую научную молодежь. Академик Л.А. Орбели. Ленинград, 21 июня 1958 г.».

Этим поддержка Орбели не ограничилась. В одном из писем ко мне Василий Лаврентьевич упоминал о том, что Орбели активно помогал пробивать книгу. Н.А. Григорян приводит письмо Орбели Э.А. Асратяну, которого он когда-то *поднял на щит*, а затем получил от него ножевой удар в спину. Письмо «глубокоуважаемому Эзрасу Асратовичу» (прежде-то он звал его просто Эзрасом!) выдержано в почти подобострастном тоне. Он просит помочь изданию книги Меркулова – «при условии такого авторитетного редактирования как Ваше». Похоже, знал, что у Эзраса Асратовича должен быть личный интерес, иначе пальцем не пошевелит!

Книга вышла через три года и почти через два года после смерти Орбели. Почему она выходила так долго? В одном из писем к Меркулову я спросил об отношении Ухтомского к религии (тогда еще ничего об этом не знал, лишь смутно догадывался). Василий Лаврентьевич ответил, что Алексей Алексеевич был очень религиозным человеком, но из его книги «сие и многое другое» убрали «красным карандашом». Кто орудовал красным карандашом, он не уточнил, но понять не трудно. На обороте титульного листа значится:

«Ответственный редактор член-корр. АН СССР Э.А. Асратян».

Академиком Асратян так и не стал, но рычаги влияния крепко держал в руках. Он был директором Института высшей нервной деятельности, был лауреатом премии имени Павлова, был награжден медалью имени Павлова. А, главное, оставался одним из ведущих истолкователей

учения Павлова, который, по меткому выражению академика В.В. Парина, «не представлял себе, что его труды будут превращены в некий гибрид из псалтыря для молебнов и дубинки для устрашения инакомыслящих».

Сам Парин в Павловской сессии и в том, что за нею последовало, не участвовал. Он сидел во Владимирской тюрьме.

5

Айрапетянц столь же умело адаптировался к послесталинскому режиму, как и Асратян. В Ленинградском университете он заведовал лабораторией высшей нервной деятельности, занимался также историей науки – в связи с этим Меркулову приходилось с ним пересекаться, порой и сотрудничать. О том, что они вместе составляли одготомник «Избранных» Ухтомского для серии «Классики науки», упоминалось выше.

29 марта 1975 года Айрапетянц умер, окруженный почетом и уважением. Торжественная панихида состоялась 2 апреля, в актовом зале ЛГУ, при большом стечении народа. Во время панихиды В.Л. Меркулов оказался рядом с давним своим знакомым профессором Б.П. Токиным, Героем Социалистического Труда, Заслуженным деятелем науки, человеком сложной судьбы и пестрой биографии. Василий Лаврентьевич мне после этого написал:

«Я спросил: Б[орис] П[етров]ич, почему вы не ответили мне по поводу вашего мнения о книге Резника [«Мечников»] более подробно по телефону? Он повернулся и заявил: –Резник написал поверхностно о И.И. Мечникове, как журналист. Кое-что он искажил». Далее он едко обвинил Вас в плагиате. –Он (Резник) использовал мои статьи без ссылок и вообще его книга мне не понравилась». Тут нас вытряхнули из актового зала – затем я поехал в крематорий».

В крематории панихида продолжалась. О заслугах Айрапетянца было сказано много возвышенных слов, но

ярче и проникновеннее всех выступил Б.П. Токин. По словам Василия Лаврентьевича, «Токин у гроба произнес редкий по демагогии панегирик коммунисту-ученому, борцу за науку и т.д. и т.п. Минут 20 он говорил патетически».

Меркулов не был бы самим собой, если бы промолчал.

«Меня взорвало, – продолжал Василий Лаврентьевич, – и я добился, что мне дали 5 минут. Мой тезис обидел родных и почитателей Эрвида: –Его счастье, что он встретил Ухтомского – и стал под его влиянием физиологом. *Но в его генофонде не было генов иных, кроме партийного работника*». Сразу в полемику со мной вступил Л.А. Балакшин, брат жены. Он доказывал героизм Эрвида. Естественно, что после такой речи моей Токин не искал меня, он понял, куда я целил свои слова!»

Имя Б.П. Токина мне было известно с тех времен, когда я писал книгу о Н.И. Вавилове. Стремясь получше представить себе атмосферу, в которой Вавилову приходилось вести борьбу за науку, я просмотрел многие издания тех времен, включая комплект журнала «Под знаменем марксизма» за 1920-30е годы. Мне не раз попадались статьи Б.П. Токина, члена Общества биологов-марксистов, в котором он играл одну из ведущих ролей. Он громил «буржуазных» ученых за идеализм, механицизм, непонимание материалистической диалектики и другие подобные грехи.

Вместе с тем, Токину принадлежали научные работы по фитонцидам – веществам растительной клетки, подавляющим развитие микробов.

Токин жестко критиковал «великие открытия» старой большевички О.Б. Лепешинской, развивавшей теорию *живого доклеточного вещества*, из которого якобы образуются клетки – вопреки классической формуле Рудольфа Вирхова: «клетка только из клетки». Экспериментальная часть работ Лепешинской была

беспомощна, зато ее публикации были нашпигованы марксистскими формулировками и обильным цитированием Энгельса. Всех несогласных она обвиняла в идеализме, витализме и вирховианстве.

Токин был не только более грамотен, он умел говорить на том же *энгельсовидном* языке. Он разносил построения Лепешинской, не стесняясь в выражениях. Он был профессором Томского университета, где пользовался большим влиянием, но в 1937 году попал в «ежовы рукавицы». Продержали его в тюрьме больше года, но еще при Ежове, то есть до малого бериевского *реабилитанса*, освободили и полностью реабилитировали. Это можно было объяснить только чудом или... сговором с НКВДэшным начальством.

После войны Токин получил кафедру в Ленинградском университете.

Между тем, Лепешинская, сильно состарившись, но не потеряв боевого задора, продолжала публиковать свои «открытия» и слать жалобы в ЦК партии и лично товарищу Сталину на «буржуазных» ученых, которые не дают ей хода. Она подготовила монографию и хотела посвятить ее вождю народов. Вождь от такой чести уклонился, но публикацию книги поддержал.

Большинство ученых-цитологов предпочитало не связываться с воинствующей старой большевичкой. Но ей и молчания их было мало: она требовала всеобщего одобрения и продолжала клеймить *идеалистов* и *вирховианцев*, замалчивающих ее великие открытия. В конце концов, она их достала.

7 июля 1948 года, в газете «Медицинский работник» появилась статья под названием «Об одной ненаучной концепции». В ней давалась оценка трудам Лепешинской. Название статьи ясно определяло позицию авторов. Подписали ее 13 ленинградских ученых, в их числе академик АМН Н.Г. Хлопин, академик АМН Н.Д.

Насонов, профессор В.Я. Александров, профессор Б.П. Токин.

А через месяц грянула августовская сессия ВАСХНИЛ.

Т.Д. Лысенко и А.И. Опарин, выдвинутый после сессии на пост академика-секретаря взамен отставленного Л.А. Орбели, активно поддержали Лепешинскую. Им была близка боевая диалектико-материалистическая риторика старой большевички. В Ленинград нагрянула комиссия – снимать стружку с авторов коллективной статьи. Айрапетянц, казалось бы, далекий от разборок в цитологии, то ли пригрозил Насонову, то ли дружески его предупредил, что если тот не покается, то ему придется переквалифицироваться в сапожники.

На собрании, где разносили противников Лепешинской, Насонов, белый, как бумага, поднялся на трибуну и сквозь зубы прицедил сожаление о том, что поторопился подписать статью 13-ти. Его покаяние было тут же осуждено, как неполное и неискреннее. Зато Борис Петрович Токин был «искренен». С большевистской прямоотой он признал свои ошибки и напустился на соавторов с такими разоблачениями, что его выступление походило на публичный донос.

В.Л. Меркулову были также известны «ядовитые статьи, где Токин мял и позорил Александра Гавриловича Гурвича». Меркулов считал, что нападки Токина «укоротили жизнь замечательному ученому», о чем с присущей ему прямоотой говорил самому Борису Петровичу.

В постсоветское время стало известно то, о чем Василий Лаврентьевич, возможно, догадывался, но наверняка знать не мог: Токин не брезговал и подметными доносами. Так, он послал письмо в ЦК партии, в котором сообщал, что в Ленинградском филиале ВИЭМ окопалась конспиративная «еврейская масонская ложа». Главой ложи он *назначил* А.Г. Гурвича – «основателя наиболее реакционного идеалистического учения – неовитализма», секретарем –

профессора В.Я.Александрова, членами – Д.Н. Насонова и ряд других ученых. То, что большинство из них не было евреями, его не смущало. Донос доложили секретарю ЦК ВКП(б) Г.М. Маленкову, по его указанию «еврейско-масонское гнездо» было разгромлено.

Так прокладывался путь к званию Героя Труда и Заслуженного деятеля науки!

У Василия Лаврентьевича с Токиным были долгие и очень не простые отношения. Правда-матка, которую Меркулов резал в глаза, уязвляла Заслуженного деятеля, но чем-то и притягивала. Когда Меркулов, по его собственным словам, «внедрился» в ЛГУ и стал создавать Кабинет истории науки при биофаке, Токин обещал свою поддержку, но умело ушел в сторону. И в других случаях он технично обводил Василия Лаврентьевича вокруг пальца. Однако пригласил на торжественный банкет по случаю своего семидесятилетия, на котором шиканул как достойный предтеча «новых русских». «Шампанского и коньяка было много, а приглашенных было более 300 гостей». Пир на весь мир обошелся в огромную по тем временам сумму – от четырех до пяти тысяч рублей. Василия Лаврентьевича Токин усадил рядом с собой и, «под влиянием паров коньяка», стал вспоминать о том, как солоно ему пришлось в тюрьме города Томска в окаянном 1937-м.

Мало что из вышесказанного мне было известно, когда Василий Лаврентьевич сообщил о своем «обмене любезностями» с Б.П. Токиным по поводу моей книги о Мечникове – у гроба почившего Э.Ш. Айрапетянца. В ответ я ему написал:

«То, что Вы пишете о Вашем столкновении с Токиным, весьма симптоматично, хотя похороны и не лучшее место для таких дискуссий. Его реакция на моего «Мечникова» меня очень позабавила. Значит, и Токин записался теперь в великие мечниковеды, так что, не обокрав его, о Мечникове и написать невозможно!! Я вновь справился по

самой полной библиографии трудов, посвященных Мечникову (Хижняков, Вайндрах, Хижнякова, 1951), и убедился, что имя Токина в ней упоминается ТРИ раза. Ему принадлежат: Статья о фитонцидах с упоминанием Мечникова и сборник «Фитонциды», который посвящен памяти Мечникова. Кроме того, Токину принадлежит статья «К 100-летию со дня рождения И.И.Мечникова» в томской газете «Красное знамя», которая проаннотирована следующим образом: «Краткая заметка о значении трудов Мечникова в разных областях науки». Как видите, использовать эти работы (со ссылкой или без ссылки) при всем желании просто невозможно за отсутствием какой-либо оригинальности. Кроме этого мне известна еще публикация Токиным письма О.Н. Мечниковой к В.А. Чистович о посещении Ясной Поляны (публикация была в 1967 г. в «Науке и жизни»). Письмо это я использую, но на то, что оно опубликовано Токиным, указываю. Вообще-то его реакция не является для меня неожиданной. Хотя по работе над Мечниковым я не имел случая с ним столкнуться, однако еще раньше, когда я занимался Н.И.Вавиловым, я просматривал периодику 20-30-х годов, и там довольно часто встречал имя Токина под статьями, громившими «буржуазную» науку, идеализм и проч., так что знаю, что сей Герой Труда немало потрудился на ниве уничтожения лучших наших ученых. И хотя мой «Мечников» не затрагивает этой темы, но, видимо, в книге все же чувствуется полная несовместимость автора с политкомиссарами от науки. Да и «Вавилов» мой тов. Токину, по-видимому, известен».

В феврале следующего (1976) года в ЛГУ состоялось торжественное заседание, посвященное Ш.Э. Айрапетянцу, – в связи с 70-летием со дня рождения. Покойному юбиляру снова пели дифирамбы. «Интересно сказал полярник Г[ерой] С[оциалистического] Труда [Алексей Федорович] Трешников; обтекаемо говорил, но

дал понять, что его покойный друг был фанатичным сталинистом! – делился со мной впечатлениями В.Л. Меркулов. – Я намеревался развить этот тезис, но под предлогом позднего времени, а вернее опасаясь, что речь моя «не в цвет» будет, мою претензию отклонили».

Семен Резник – известный писатель и историк. Работал в редакциях серии ЖЗЛ, ж-ла «Природа» (Москва), ж-ла «Америка», радиостанции «Голос Америки» (Вашингтон). В центре его внимания – духовная жизнь России, судьбы российской науки, евреи и антисемитизм в России.

Его перу принадлежат исторические романы «Хаим-да-Марья», «Кровавая карусель», пьеса «Кровавая карусель», историко-документальные книги «Красное и коричневое», «Нацификация России» (на англ. яз.), «Вместе или врозь? Судьба евреев в России: Заметки на полях дилогии А.И. Солженицына», «Сквозь чад и фимиам», «Растление ненавистью», «Убийство Ющинского и дело Бейлиса», научно-художественные биографии Н.И. Вавилова, И.И. Мечникова, В.О. Ковалевского, документальные повести о выдающемся хлопководе Г.С. Зайцеве, физиологе В.В. Парине, ряд других книг.

Печатается в периодике России и русского зарубежья, в сетевых изданиях, в англоязычных изданиях.

Сейчас писатель работает над новой большой книгой, посвященной великому ученому Николаю Ивановичу Вавилову.

НАШКРЫМ

В США под таким названием издана
поэтическая антология

В нью-йоркском издательстве "КРiК" (KRiK Publishing House) вышла в свет международная поэтическая антология НАШКРЫМ, в которую вошли современные тексты о Крыме на русском языке.

Под одной обложкой собраны 120 авторов из девяти стран, включая Россию, Украину, Латвию, Германию, Францию, Ирландию, Израиль, США и Австралию. В их числе такие известные поэты как Виктор Кривулин, Михаил Айзенберг, Юрий Кублановский, Александр Кушнер, Кирилл Ковальджи, Алексей Парщиков, Евгений Бунимович, Александр Кабанов, Генрих Сапгир и многие другие.

Инициаторами и составителями проекта являются литераторы Геннадий Кацов (Нью-Йорк) и Игорь Сид (Москва).

Согласно концепции, опубликованной на сайте (www.nkpoetry.com) проекта, *–данная антология – своего рода поэтический миротворческий манифест, попытка возвращения Крыма из пространства раздора в пространство литературы и интеллектуального диалога, из геополитики в геопэтику”.*

Еще до выхода антологии вокруг нее разгорелись нешуточные страсти из-за якобы претенциозного названия – НАШКРЫМ.

Одни обвиняли создателей проекта в поддержке политики современного российского руководства, указывая на созвучие названия с популярным российским лозунгом *–КРЫМНАШ”*. Другие, наоборот, ставили в упрек оппозиционность антитезы тому же лозунгу. Третьи категорически заявляли, что в сегодняшних реалиях

непозволительно занимать миротворческую позицию по отношению к крымским событиям.

Однако, инициаторы проекта жестко отстаивали как его название, так и свою точку зрения.

–«Сегодня в реальной жизни льется и так много крови, так что не хватает еще, чтобы она лилась под обложкой поэтического сборника. И в этом – позиция авторов антологии, которые представлены стихами о Крыме. И только стихами о Крыме», – заявляют они в манифесте проекта НАШКРЫМ.

В сборнике, действительно, представлены авторы с различными, порой диаметрально противоположными, позициями в отношении крымского вопроса. О чем они открыто заявляют. Несогласие друг с другом по этому поводу не помешало им принять участие в общем поэтическом проекте. И это в очередной раз подтверждает, что культура, в частности поэзия, является объединяющим фактором.

Какова будет литературно-историческая судьба антологии НАШКРЫМ, покажет время. Пока же СМИ разных стран положительно оценили замысел и исполнение проекта. Рецензий все больше...

Стоит отметить, что создатели проекта родились в Крыму. Игорь Сид – в Джанкое, а Геннадий Кацов – в Евпатории.

31 января в главной библиотеке Бруклина (Нью-Йорк) при большом стечении любителей и ценителей поэзии состоялась презентация уникального издания.

...На огромном экране – меняющиеся фотографии дивных крымских пейзажей, при виде которых сжимается сердце немим восторгом – нетленная красота. К счастью, не разбомбленная, не изуродованная снарядами, как Донбасс. С клавиш рояля слетают знакомые с детства мелодии советских песен, своеобразное попури. И губы машинально вышептывают с горькой иронией отторжения:

–Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек, я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек...” Человек *вольно дышал* во времена раскулачивания, Голодомора, ГУЛАГа, разгула государственного антисемитизма, в годы войн и нищеты, борьбы с диссидентами, удел которых был лагерь или психушка. Казалось, в постперестройку страна изжила, отинула все это. Увы, нынешняя Россия скатилась к жесткому авторитаризму, а если смотреть правде в глаза, – к полутоталитаризму (пока!), когда за участие в несогласованном митинге и просто высказывание своего мнения, отличного от мнения государства, в том числе в интернете, ждет уголовное наказание. И нынешний зомбированный россиянин *вольно дышит*, в угаре насаждаемого патриотизма, замешанного не на любви к родине, а на зоологической ненависти к другим странам и народам, признает и поддерживает (таких большинство) аннексию Крыма, агрессию на юго-востоке Украины, а следовательно, производное путинского лихолетья – смерти, разрушения, сотни тысяч беженцев. Катится страна по наклонной плоскости вранья и потакания вранью...

В такой ситуации проект НАШКРЫМ потребовал от его создателей (прежде всего, Геннадия и Рики Кацовых) мужества, терпения и твердой убежденности в том, что делают благое дело, отвергая известную формулу: когда говорят пушки, умолкают музы. Они, безусловно, рисковали и сознательно шли на риск, веря в полезность и необходимость своей гуманитарной акции. И презентация, на мой взгляд, еще раз подтвердила их правоту.

Видеоприветствия с экрана участников антологии, чтение стихов поэтами, их краткие выступления настроили зал на ностальгическую волну. Все выступавшие с особой теплотой и нежностью вспоминали Крым, живописуя красоты, одарившие мгновениями счастья. Но все это было в прошлом, а нынешний Крым, как и нынешний Донбасс,

отнюдь не настраивают на лирические откровения. Политика нет-нет и врывалась в зал, соперничая с поэзией. Гари Лайт закончил выступление возгласом «Слава Украине!» Уже не ностальгией, а совсем иным повеяло от последних строчек стиха другого поэта: «Крым уплыл, он на пути к Путину..., а людей-то как жаль...» Дмитрий Гаранин прочитал, как сам подчеркнул, политизированный стих. И Геннадий Кацов признался: «В этот Крым я не вернусь никогда».

...Вечер прошел замечательно, выдался по-крымски теплым, терпким, как вино Массандра, и в чем-то щемящим. Этому способствовали пианисты Леонид Кац и Вадим Неселовский. Поэтессы пели под гитару. Депутат Алек Брук-Красный вручил организаторам приветственный адрес от имени Ассамблеи штата Нью-Йорк. В фойе раскупались книги с призывным названием НАШКРЫМ. Музы не молчат, и это самое главное.

Д.Г.

ЛЕОНИД ШЕБАРШИН

АФОРИЗМЫ

КГБ, оказывается, умеет шутить

Автор публикуемых афоризмов Леонид Владимирович Шебаршин – профессиональный разведчик, генерал-лейтенант, в течение двух лет (с 06.02.1989 по 22.09.1991) начальник внешней разведки СССР.

С молодости увлекался литературой, в последние годы преимущественно мемуарной и востоковедческой литературой. Опубликовал книги «Рука Москвы», «Из жизни начальника разведки», «Хроники безвременья», «И жизни мелочные сны...». Был мастером политического афоризма.

С возрастом у Леонида Владимировича обострились проблемы со здоровьем, в последние дни жизни он полностью потерял зрение. Тяжёлая болезнь стала причиной трагической развязки. 30 марта 2012 года, в возрасте 77 лет, в своей московской квартире на 2-й Тверской-Ямской улице Шебаршин покончил жизнь самоубийством, застрелившись из наградного пистолета.

Мы никогда не меняем своих убеждений. Мы меняем только заблуждения.

Случайностью называется непонятая нами закономерность.

Если трезво взглянуть на жизнь, то хочется напиться.

Позади сожжённые мосты, впереди разбитое корыто.

Рукописи не горят. Горят издатели.

У нас всё впереди. Эта мысль тревожит.

Не стоит возвращаться в прошлое. Там уже никого нет.

Нельзя насытиться воспоминаниями о прошлогоднем банкете.

Если русские вымирают, значит, это кому-то нужно.
Чем глупее начальство, тем меньше оно сомневается в своей мудрости.
Если дела будут идти таким манером, то у народа не останется сил даже для гражданской войны.
Многие ушли в политику потому, что это более доходное дело, чем вооружённый грабёж.
Демократы стесняются употреблять слово «товарищ». Они слишком хорошо друг друга знают.
Из двух зол следует выбирать известное.
Такие тяжёлые времена, а никого ещё не расстреляли.
Будто и не в России живём.
Велика Москва, а отступать некуда. Кругом Россия!
К вопросу о парламентском иммунитете: как можно поставить на место человека, если его нельзя посадить?
Есть два вида ораторов - одни говорят глупости экспромтом, другие зачитывают их по бумажке.
Не в свою лужу не садись.
Губят Россию грамотность без культуры, выпивка без закуски и власть без совести.
Дела все ещё не так плохи, чтобы рассчитывать на улучшение.
Когда определилась победившая сторона, оказалось, что на побеждённой стороне никого и не было.
Если бы государством управляли кухарки, они не оставили бы народ голодным.
Идеальное демократическое общество – каждый гражданин может послать любого другого гражданина к чёртовой матери без различия пола, национальности и вероисповедания.
Инструменты власти – тень кнута и призрак пряника.
Эпитафия – скончавшийся эпитаграф.
Занимая место под солнцем, ты загораживаешь кому-то свет.
Демократия могла бы выжить, если бы не демократы.
Абсурд – это реальность, доведённая до отчаяния.

Что Вы цените в женщине? То, что отличает её от мужчины.

Удивительная дама – демократия. Её насилуют, а она ещё кокетничает.

Мы, русские, очень талантливы. Особенно евреи.

Жизнь была прожита не напрасно, но зря.

Хорошо знакомая болезнь безопаснее, чем незнакомый врач.

Взгляды настолько широкие, что не лезут ни в какие ворота.

Есть женщины, способные дать только по шее.

Размышления молодого врача: гораздо увлекательнее давать жизнь новому человеку, чем продлевать её старому.

Людей портят не столько деньги, сколько их отсутствие.

Неологизм: –Оторви, наконец, жопу от телевизора!”

Страна не вынесет ещё одной победы демократии.

Не стоит сетовать на отсутствие мыслей. Возможно, это были бы плохие мысли.

В отличие от политиков-мужчин, которые просто неприятны, политики-женщины отвратительны.

На смену юношескому романтизму неизменно приходит старческий ревматизм.

Если государственное учреждение не поражено коррупцией, значит, оно никому не нужно.

Вечный вопрос русского интеллигента: не –кто виноват?” и не –что делать?”, а –кто будет платить?..

Общество *специальной* справедливости.

Ни одна работа не кажется грязной, если её можно делать чужими руками.

Одно из фундаментальных прав человека – плевать в колодец.

Без России не может быть мировой войны.

Чем дороже хлеб, тем дешевле права человека.

Отказался от пагубной привычки не пить.

Демократия – всего лишь промежуток между диктатурами.

Наше время придёт, но нас оно уже не застанет.
Трудно сказать что-то настолько глупое, чтобы удивить Россию.
Если нет мыслей, значит, они не нужны. Этим мысли отличаются от денег.
Переход от картошки к лососине чудесно меняет цвет лица.
Не забегай вперёд. Спина - удобная мишень.
Нельзя два раза съесть одну и ту же курицу, а человека – можно.
Диагноз: острая алкогольная недостаточность.
Скромность украшает человека. Нередко это единственное украшение.
Россия не останется без иностранных друзей, пока у неё есть что грабить.
Нас подвела психология – «саждённой крепости». Мы ждали нападения извне.
Люди готовы испить любую чашу. Была бы закуска.
Мы не против того, чтобы женщина торговала своим телом, а против того, чтобы она им спекулировала.
На переправе не меняют лошадей, но стоило бы поменять кучера.
Ни один человек у нас идеалам не изменял. Оказывается, идеалы изменили людям!
Обманывать, но не принуждать верить – это и есть подлинная демократия.
Постулат российской политики: не стоит прислушиваться к мнению оппонентов – уж больно у них рожи противные.
Смотрим фильмы ужасов, чтобы отдохнуть от действительности.
Ошибки прошлого – строительный материал политики настоящего.
Доврались, наконец, до правды.
Россия — могучая гора. Но каких же мышей она родила!

Автор обложки

РУССКИЙ САЛЬВАДОР ДАЛИ

Картины этого художника известны во многих уголках мира. Владимира Куша не случайно называют русским Сальвадором Дали. Сам художник называет свой стиль *метафоричным реализмом*.

Предлагаем читателям интервью, которое Владимир Куш дал для Энциклопедии русской Америки, существующей на портале RUNYweb.com (печатается с сокращениями).

– **Несколько слов о себе.**

– Родился я в 1965-м году в Москве, коренной москвич. С 7-ми лет ездил в художественную школу Краснопресненского района, 10 лет там отучился, потом в Строгановской Академии. Закончив, сразу уехал в Америку.

– **То есть перестроечные года в России вы захватили. Это было очень интересное время: рассвет независимых галерей, различных художественных объединений...**

– На меня очень сильно это повлияло. Помню себя в 15-летнем возрасте, когда я стоял в ужасно длинной очереди на Малой Грузинской, где выставлялись первые авангардные художники.

– **Группа «Двадцать»?**

– Да, «Двадцатка». Прежде невозможно было увидеть ничего подобного. В те времена у меня была единственная картинка Сальвадора Дали, «Горящий жираф» (Innovation of monsters – я теперь знаю настоящее название). До 23-х лет никаких других работ Сальвадора Дали не видел. Это была единственная, вырванная из альбома репродукция...

Как только открылся Арбат для художников, я был, наверное, самый первый художник, который здесь рисовал портреты для заработка. Я учился еще в Строгановке, и в это время как раз много иностранцев, в

том числе американцев, ходило по Арбату. Они приглашали к себе в посольство рисовать их портреты маслом.

– **И таким образом попали в Соединенные Штаты?**

– Первый раз я съездил в Америку, когда еще учился в Строгановке, это был 1989-й год, и полтора месяца пробыл там. Видя, что происходит в России, я решил, что для художника лучше всего – уехать в Америку. У меня была выставка в Германии, в результате которой я продал 4 работы, и с этими деньгами, около 3 тыс. долларов, я сел в самолет и улетел из Франкфурта в Лос-Анджелес.

Моя эмиграция – это особая тема. Я познакомился в самолете с американцем, которому позвонил на следующее утро и попросил его найти мне жилье. Он нашел мне пристанище в дальнем конце города, и там я сидел в гараже, рисовал картины, ездил на трех автобусах в Санта-Монику рисовать портреты.

Однажды я влез в автобус, у меня были последние 20 долларов, я вставил их в автомат, чтобы заплатить, но автомат-то сдачи не выдает, поэтому я всю дорогу – вместо поездки на остальных двух автобусах – шел пешком.

Дойдя до Санта-Моники, я понял, что со всеми моими мольбертами и этюдниками надо зарабатывать именно здесь. Я сел, нарисовал два портрета, пока меня не выгнали с пляжа. Заночевал в Санта-Монике вместе с бомжами. Холод был страшный, потому что это был конец ноября в Лос-Анджелесе, и ветер дул с океана. Я клал на себя этюдник, таким образом спасаясь от холода. А бомж на ближайшей скамейке протягивал мне бутылку пива для согрева.

– **Как удалось выйти из этой ситуации?**

– Все зависело от искусства, от картин. Я никогда не бросал писать картины. Зарабатывал портретами позировавших мне людей ровно столько, чтобы выжить. Ходил по галереям, отдавал свои работы на комиссию, они

могли лежать там год, никто их не выставлял, потому что в это время на американском рынке сюрреализм считался совершенно немодным.

– А с какого момента началась успешная продажа картин?

– На это у меня ушло почти 10 лет. Я совершенствовал язык живописи, очищал от всего ненужного. Поиск метафор, поиск себя...

Моя успешная карьера, как ни странно, началась не в Америке, а в Гонконге, куда переехал в 1993-м году. Меня заметил один французский дилер, договорился о моей выставке в Гонконге. До этого у меня работы не продавались вообще, а если и продавались, это были штучные продажи. Я делал журнальные обложки для знаменитых людей Гонконга, писал портреты в сюрреалистическом стиле, выставлялся в галереях.

А потом пришло время открыть свою галерею.

Я выставлялся у одного француза, и как-то продавец обмолвился: «Ты знаешь, на твоих работах хозяин уже полмиллиона долларов сделал». Об этом я, конечно, не знал, но он, этот продавец, уйдя от француза, стал первым моим дилером. Первый наш офис мы организовали на его яхте, так как он был в прошлом моряк.

– Сколько у вас сейчас галерей? Где они находятся?

– Сейчас 4 галереи. Одна находится на Мауи – это самая первая галерея, которую мы открыли, в Лагуна-Бич в Калифорнии и две в Лас-Вегасе.

– Вы, кроме изобразительного искусства, занимаетесь сейчас и скульптурой, и ювелирными изделиями...

– Я считаю, что метафора может жить в разных измерениях. И в трехмерном измерении, и в скульптуре, и в декоративном виде, как ювелирные изделия, и, тем более, в кинематографе. Поэтому занимаюсь и анимацией...

Воспроизведенная на обложке журнала картина носит название “Маркиз де Сад”.

